

РОМАН СЕНЧИН ПЕТЛЯ

СОВСЕМ НОВАЯ ПРОЗА

– И что, – спросил, –
я должен как бы
погибнуть, а потом
воскреснуть?

Актуальный роман

Роман Сенчин

Петля

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сенчин Р. В.

Петля / Р. В. Сенчин — «Издательство АСТ»,
2020 — (Актуальный роман)

ISBN 978-5-17-122137-9

«Тема этой книги – перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая людей в среднем возрасте. Добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, они чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Он вторгается в границы чужого опыта с серьёзным намерением его прожить – да ещё в самых тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах» (Валерия Пустовая).

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-122137-9

© Сенчин Р. В., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Могло́сь	6
Немужик	8
А папа?	29
Функции	42
Сюжеты	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Роман Сенчин
Петля
Повесть, рассказы

© Сенчин Р.В

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Моглбсь

Хочется написать: «такого Сенчина мы ещё не знали», – но это неправда: перед нами рывок писательского таланта к новой зрелости.

Тема этой книги – перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая людей в среднем возрасте, которые, именно добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Таков и сам Роман Сенчин в этой книге, и его герои, в которых нам хочется по инерции видеть альтер эго автора. Однако в этих рассказах мастерство Сенчина-реалиста достигает такой пристальности и зоркости, что помогает рассмотреть ключевой сюжет в опыте не просто чуждом – а принципиально закрытом от подглядывания.

Тот, кто годами ждал просвета в творчестве этого писателя, сможет найти здесь долгожданную альтернативность жизненных сценариев. Теперь его герои получают не только возможность – но и умение выбирать. Даже узнаваемое, фирменное сенчиновское «все мы будто спим» – уже не приговор, а образ такого общения, которому не нужны слова.

На место типологии пришёл тонко настроенный психологизм: автор внимательно уточняет причины реплик и реакций героев, показывая, как мелкая моторика души рассинхронизируется с программными установками разума.

Мазохистское самокопание обратилось в желание по-настоящему услышать себя. «Хотелось» – в этом слове раньше был лишь вялый вздох сожаления, теперь же в нём – порыв что-то сделать, и героям Сенчина правда удаётся если не добиться желаемого, то по крайней мере покончить с тем, что стало неважно.

Но перемены здесь – не возрастной фетиш, а концепт, всесторонне исследованный в художественной лаборатории. Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Начиная как один из ведущих авторов исповедальной прозы и опять расписавшийся в преданности литературе «честной и искренней», он помещает свидетельство в токсичный контекст, по действию сравнимый с постмодернистской иронией.

Новая искренность Сенчина изливается из столь разных источников, а новая честность приводит к таким противоречивым выводам, что исповедь превращается в эксперимент. Это правда, помноженная на контекст.

В каждом рассказе открываются по три и больше контекста, среды восприятия: некоторые проговорены прямо и безыскусно, об иных приходится делать выводы, а какие-то введены цитатами – причём факты истории, культуры и фактография чужой жизни цитируются на равных основаниях.

При этом соседствующие рассказы и сами играют значениями друг друга: вроде бы твёрдо усвоенный нами опыт перемен опровергается в следующем тексте с зеркальным, едва ли не пародийно похожим сюжетом.

И более того: в книге есть рассказы, реалии которых исключают исповедь или тормозят её. Самый опасный трюк исполняет автор, вживаясь в своего коллегу и современника, – не названного, но легко узнаваемого по цитируемым постам из «Фейсбука» журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Вывести в прозе известную фигуру, особенно в сатирическом духе, – приём распространённый. Но Сенчин вторгается в границы чужого опыта с серьёзным намерением его прожить – да ещё в самых тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах: он реконструирует подвиги в идейных мотивах, подробности быта политического эмигранта и, наконец, скандальную инсценировку покушения. А всё для того, чтобы постичь ценность перемен и в таком масштабе: ввиду реального риска утраты и родины, и верности себе, и жизни.

И даже в тех рассказах, где Сенчин с полным правом свидетельствует о своих мотивах и личной жизни, он рискует куда больше, чем раньше: это исповедь «в реальном времени» – как пишет он о новом счастье, особенно цепком к настоящему ввиду такого же, в реальном времени, страха, что там, за гранью «здесь и сейчас», всё опять переменится и рассыплется.

Никогда ещё в героях Сенчина, не исключая образ его самого, я с такой охотой не узнавала себя. Диалогичность, многослойность, тонкий слух к нюансам и оговоркам, наконец, полный смысловой оборот, который совершает здесь концепт «перемен»: от другой семьи до предощущения смерти, – эти особенности его прозы располагают и читателя к отзывчивости и открытости. И хотя новый Сенчин не раз обманывает наше доверие, за это чувствуешь только благодарность. Ведь книга с такой убедительностью показывает, как тягостно жить, уставившись в одну точку зрения.

Валерия Пустовая

Немужик

1

Аркадий боялся родного города – сразу всё вспоминалось. Он был особенным ребёнком, и его часто били, теперь он стал особенным человеком, и его уважали. Уважали во многих городах России и мира. Были те, кто гордился им в родном городе, но, как только Аркадий попадал сюда или хотя бы представлял, что попал, сразу начинало потряхивать от воспоминаний. Нехороших.

А город к себе тянул. Тянул так сильно, что приходилось срывать и ехать.

Он находился на Урале. Принято уточнять – на Среднем Урале. Считался старинным, хотя от старины – восемнадцатого-девятнадцатого столетий – сохранился лишь пяточок на берегу запруженной речки Капухи. Заводское управление, склады, сам завод из багрового кирпича – всё это теперь превращено в музейный комплекс. В основном же были дома сороковых и пятидесятых годов. Огромные, облицованные керамическими плитами, с лепниной, статуями на крышах.

Многие статуи разрушились, и торчали лишь ноги с частью туловища, и это пугало ещё в детстве, рождало в воображении жуткие истории про окаменевших людей. Эти люди хотели жить вечно, забрались на крыши, чтоб ближе к небу, стали каменными, но дождь, мороз, ветер оказались сильнее камня...

Улицы непомерно широки для размеров города. Не улицы, а настоящие проспекты. Правда, короткие. В центре площадь с памятником Ленину, от которой расходятся в четыре стороны света четыре проспекта. Проходишь по любому из них буквально пятьсот – семьсот метров, и вот вместо красивых домов – гаражи, ангары, ремонт машин... Проспекты превращаются в трассы, по обочинам которых – тайга или болота.

При Петре Первом на месте будущего города поставили медеплавильный завод, Капуху перекрыли плотинами; вокруг завода, конечно, настроили жилищ для рабочих.

В те времена подобных заводов по Уралу были чуть ли не сотни: железоделательные, чугунолитейные, медеплавильные, металлургические. Появился даже термин «горнозаводская цивилизация»; писатель Иванов написал о ней книгу-путеводитель.

Многие заводы зачахли ещё в позапрошлом веке, исчезли, теперь вместо них лишь горки битого кирпича да изржавевшее до полной непригодности железо; но несколько заводов стали городами. В том числе и их.

Медеплавильный завод был закрыт при Николае Втором, зато в окрестностях перед самой войной выросли два других, огромных – металлургический и машиностроительный. А после войны принялись за перестройку города. Появились проспекты, необъятная площадь, дворцы с колоннами и статуями на крышах.

Город должен был стать одним из воплощений советского рая, но к концу восьмидесятых этот недоовоплощённый рай стал ветшать. Заводы работали вполсилы, здания потихоньку разрушались, магазины пустели, люди уезжали... Аркадий родился в восемьдесят первом, застал самый краешек расцвета. А потом наступил вечный сумрак.

Всё было пропитано памятью о героических стройках: заводы, железная дорога, театр, Дворец пионеров, Дворец металлургов. Разговоры велись о выполнении и перевыполнении плана не только на собраниях, но и на свадьбах, днях рождения... Пацаны с детского сада мечтали стать похожими на отцов. Даже их, отцов, болезни, заработанные в горячих цехах, воспринимались как признак героизма.

Аркадий выделялся – о заводах не мечтал, по стопам отца идти не хотел. Да и отца не знал. Может, потому и вырос таким...

Правда, у старшего брата Юрки отца тоже не было, вернее, тот никогда его не видел, но Юрка не выделялся. Ни характером, ни внешностью, ни поведением. Крупный, каменно-плотный, задиристый, а когда требовалось – послушный и терпеливый. А Аркадий, непоседливый на уроках, мог подолгу смотреть на пруд, на всегда зелёные из-за сосен гривы за ним, на облака; читал книгу за книгой, не отличая в то время хорошую от плохой, скучную от увлекательной.

– Ты учебники давай открывай, – сколько раз требовала мама. – Опять вон химию запустил, физику. Скажу библиотечаршам, чтоб не выдавали. Мозги только засорять...

Мама тоже работала на заводе – плела и плела на своём станочке металлосетку для воздушных фильтров; продавщиц и прочих из сферы обслуживания не уважала.

Точные науки Аркадию давались плохо, да он и не особо стремился их постигать. На уроках труда был вялый и равнодушный. С неохотой участвовал на физкультуре в командных играх, зато с удовольствием бегал, прыгал, подтягивался, отжимался. Хотя крепким не становился – скорее, гибким.

В их городе жили съехавшиеся из разных мест огромного Союза. Были и блондины, и смуглые, рыжие, монголистые. Многие переженились, и их дети часто имели очень странную внешность. Но всех объединяло нечто такое, что сразу указывало: это уральцы. У Аркадия этого «нечто» не было. Пацаны, да и девчонки – девчонки, кстати, особенно – с детского сада воспринимали его как чужака. Презрение девчонок ранило сильнее пацанских тычков и подножек.

Мама не защищала и не жалела – ласковость была ей не свойственна, – но иногда смотрела на Аркадия с такой какой-то грустью, не печальной, а светлой, что ли, доброй, что у него становилось горячо под горлом и хотелось заплакать. Она словно бы видела в Аркадии следы чего-то хорошего и безвозвратно потерянного.

Как-то раз, когда он прибежал из школы заплаканный и бросился к ней, прижался, потрепала по голове и сказала:

– В честь Гайдара тебя назвала... Фильм был такой, когда он ещё красный командир, за бандитами гоняется. Его Ростоцкий играл, мы все в него тогда влюблялись... А ты вот Аркадий, но не Гайдар совсем... Не Гайдар.

Юрка, брат, относился почти так же, как и пацаны. Разве что, когда травля готова была перерасти в избиение, останавливал особо жестоких:

– Хорош, хватит ему. Ещё из окошка спрыгнет. Он у нас ранимый.

Дома они почти не разговаривали, общих увлечений и дел не было.

Впрочем, Аркадий ничем особо не увлекался. Если бы хорошо рисовал, пел, танцевал, любил бы шутить, балагурить, его наверняка бы не воспринимали чужаком, не выпихивали прочь. Но он не удивлял, никак не пытался войти в мир тех людей, среди которых родился и рос.

Он любил читать, много смотрел телевизор, учился средне, держался в стороне от групп сверстников, и эти группы, устав от вражды друг с другом, то и дело нападали на него, иногда объединяясь. Часто словесно, а иногда – с кулаками.

Изучая себя как бы посторонними глазами, стараясь быть объективным, Аркадий приходил к выводу, что он не урод. Невысокий, но с тонкой костью, стройный, волосы почти чёрные, глаза тёмные, выразительные – не какие-нибудь там щёлочки или прозрачные кружочки, как у многих; нос, правда, крупноватый, зато с тонкой переносицей, губы пухлые, яркие. Парни и мужчины с подобной внешностью часто появляются в иностранных фильмах, и там они – герои, в них влюбляются, а здесь он достаивается в лучшем случае как-то с сожалением произносимого слова «смазливенький». Вроде – бракованный...

Юрка, окончив девять классов, поступил в училище, а после него ушёл в армию. Попал в ВДВ. По комплекции подходил, да и по характеру тоже – этаким солдат от природы. Слал домой короткие, зато радостные письма, жалел, что война в Чечне кончилась, – призвали его в декабре девяносто шестого, а то бы «показал этим шавкам, как на Россию наезжать».

Мама читала его письма вслух и Аркадию, и соседям, и наедине себе самой. Гордилась. Но всё-таки переживала. И младшего решила учить до полного среднего, а потом – в какой-нибудь институт.

Призывного возраста ожидал со страхом, его начинало мутить, когда думал об армии. Конечно, пугала дедовщина, о которой слышал с детства, но по-настоящему ужасало это существование в казарме, где нет своего личного места, где всё время на виду, даже в туалете.

– Ремень на шею – и в позу орла, – смеялся Юрка. – Как птицы на проводах.

У них с братом была одна комната на двоих, и лет в двенадцать Аркадий при помощи шкафа – небольшого и лёгкого – выгородил себе отдельный уголок с кроватью и столиком. Мама сначала была против: «Темнота ведь тут, нора мышиная», – а потом махнула рукой. Брат тоже вскоре привык, да и дома бывал редко: кружки, улица, компания...

В выпускном классе Аркадий словно очнулся от того тревожно-сонного состояния, в каком жил. И экзамены сдал отлично, хотя специально не готовился – просто всё то нужное, что услышал на уроках, вычитал в учебниках и книгах, увидел по телевизору, вспомнилось, превратилось в некие кристаллики знаний и выплёскивалось в ответах учителям.

Аттестат получил вполне приличный для попытки поступления в вуз.

– Поступай, поступай, – говорила мама, – что тебе ещё делать такому. В армии задавят как пить дать. К тому же опять война вон...

В их городе были два филиала известных в стране университетов, но учили там на технических специалистов – чтоб выпускники пополняли кадры местных заводов. И Аркадий отправился в областной центр.

Запомнил в момент прощания на вокзале взгляд брата, к тому времени уже два с лишним года как женатого, работавшего машинистом завалочной машины. Юрка вслух не осуждал его, но глаза говорили: ошибку ты совершаешь, чумачача, непоправимую ошибку, откальываешься окончательно. Аркадий отворачивался, будто провинившийся щенок...

До того в областном центре бывал два раза. Первый – лет в десять: мама получила какую-то премию или, может, денежный подарок на день рождения и решила показать сыновьям столу их края.

Аркадию казалось, что едут очень долго, хотя путь на самом деле занял чуть больше четырёх часов. Но он не привык к поездкам и изъёрзался, замучил маму вопросом: «Скоро?» За окном поезда было скучно: лес, лес, лес... Потом же ударили шум, мелькание людей, какофония музыки из привокзальных киосков, голова закружилась, глазам стало больно наблюдать постоянно сменяющуюся картинку... У них в самые людные часы, в самые большие праздники такого никогда не бывало.

Потом гуляли в каком-то парке, катались на каруселях, ели вкусное и сладкое, но ничто не радовало. Ни Аркадия, ни Юрку, ни саму маму. Вечером еле живые от усталости попадали на полки в поезде, а ночью проводница еле добудилась их: «Ваша станция!»

Второй раз приехали всем классом. С ночёвкой. Было им лет по четырнадцать. В плане значились музеи, театр, обзорная экскурсия. Ребята ходили как каторжники, еле передвигая ногами, угрюмо и затравленно озирались, на спектакле многие спали...

Но Аркадию в тот раз город понравился. Вернее, не так ошеломил и придавил. Он увидел, что областной полуторамиллионник и их стодвадцатитысячник похожи. Дома такие же, и проспекты, и памятники, и выражение лиц прохожих: какая-то на них мрачная сосредоточенность. Не враждебность, не злоба, а именно сосредоточенность. Но мрачная. Будто каждый точит, скребёт слабым инструментарием мозга твёрдую, как гранитный камень, проблему.

И ещё Аркадию открылось тогда, что и его родной город, и этот – не просто скопление домов, автомобилей, человечков на освобождённом от чашобы пространстве, а нечто живое, мыслящее, страдающее и иногда радующееся. С душой. Но души у обоих городов строгие, недобрые. Они не распахиваются каждому, не согревают, хотя притягивают, как магнит металлическую пыль на уроках физики, этих самых человечков. И чем больше город, тем сильнее он притягивает...

Пылинки-человечки один за другим прилипают к магниту-душе, но внутрь попасть суждено единицам. Это нужно заслужить, что-то такое сделать. Большинство же облепляет её – душу – снаружи и висит гроздьями, давясь и задыхаясь.

Конечно, открылось это Аркадию не словами – слова, да и то не совсем подходящие, не совсем те, нашлись много позже, когда стало необходимо объяснить другим, что он делает, что стремится создать.

2

Поступил в недавно открывшийся Социогуманитарный университет, о котором узнал ещё дома. Его хвалили: прогрессивный вуз, новые программы, выпускников расхватывают работодатели... Выбрал отделение психологии и сдал экзамены с блеском. Преподаватели так и говорили: «Блестяще!» Баллы позволили занять одно из немногих бюджетных мест.

Почему психология? Позже Аркадий часто пытался найти для себя самого точное, внятное объяснение. Мол, нужно было разобраться, из-за чего к нему так относятся, он ли виноват или окружающие, как устроено сознание людей, что побуждает их совершать определённые поступки. Но сам по-настоящему не верил в эти доводы. Скорее, на его выбор повлияла тогдашняя мода на психологию и сопутствующие ей науки и лженауки. Была уверенность, что с дипломом психолога можно легко найти денежную и несложную работу. Сложной работой Аркадий всегда считал физический труд. Удивлялся, почему большинство его выбирает. Выбирает и украшает романтикой.

Однокурсницы поначалу проявили к нему явный и откровенный интерес. Аркадия поразила их раскованность – в родном городе девушки с детства вели себя как тётки, относились к мальчикам-парням словно старые жёны: командовали, помыкали, фыркали, досадовали, ни капли не уважали, но боялись, когда напарывались на ответ.

Аркадий бросился однокурсницам навстречу: в компаниях был открытым и светлым, разговорчивым, остроумным – часто слишком, будто навёрстывая годы одиночества, изгойства, – но, когда оказывался с девушками один на один, терялся и костенел. И они, такие желанные, милые среди других девушек и парней, становились пугающими, их страстность казалась опасной. В чём опасность, Аркадий не понимал, но это чувство было таким сильным, что он ничего не мог – ни говорить, ни обнять. Девушки сначала недоумевали, потом злились, потом или уходили, или требовали, чтобы ушёл он.

И очень быстро потеряли к нему интерес. Точнее, перестали слать сигналы, что готовы быть с ним, а лишь как-то насмешливо поглядывали. Наверняка рассказывали друг другу о его так называемых осечках.

Он покупал порножурналы в магазинчике возле вокзала, иногда смотрел с парнями порнуху по виду, и возбуждался, и никаких осечек потом, когда запирался в душе или туалете, не было. Но с реальными девушками – не получалось. Даже не доходило до поцелуев. И с ужасом, таким сильным, что возникала мысль не жить, тянула к окну, заставляла разглядывать крючки на стенах и потолках, он понял, что не получится уже никогда.

Странно, но, готовясь стать психологом, сам Аркадий к ним за помощью не обращался. Обращаться казалось глупым и унижительным. Да и к девушкам тянуть вскоре перестало – они всё сильней напоминали ему одноклассниц. Пугали, а не манили.

Появились приятели, товарищи. Многие были по-настоящему увлечены учёбой, читали книги одну за одной, обсуждали их, заочно спорили с лекторами, а очно – друг с другом. Девушки приходили на такие посиделки редко, да и, кажется, не затем, чтоб поговорить о пирамиде Маслоу или «Человеке в поисках смысла» Франкла; даже Фрейд с Юнгом их мало интересовали – в отличие от прилежных и строгих одноклассниц, однокурсницы Аркадия явно хотели лишь весело выпить, потанцевать, а потом заняться сексом.

Гадал, почему так, ведь эти девушки по большей части съехались из таких же городов, что и он... В его городе не было особых развлечений. Один ресторан, который обыкновенно пустовал: там отмечали юбилеи, гуляли свадьбы и справляли поминки по знатым покойникам, но это случалось далеко не каждый день. Ещё – два кафе, и они использовались для тех же целей: жители города ели и пили дома. Многие служащие ходили домой в обеденный перерыв, рабочие брали бутерброды и кашу в стеклянных банках на заводы, и не только из экономии – в столовых питаться было просто не принято. Дискотеки и в свободные девятые устраивались лишь по субботам, в воскресенье народ отдыхал перед трудовой неделей и пять дней напряжённо работал. Включая школьников. Примерно те же традиции существовали и в других небольших городах области.

Здесь же, в областном центре, с его кабаками, ночными клубами, роскошными, построенными в позапрошлом веке для уральских миллионщиков ресторанами с лепниной на потолках и позолоченными дверными косяками, девушек понесло. Не каждая могла позволить себе часто ходить в кабаки и клубы, но устроить маленький кабачок в общаговской комнате казалось вполне возможным. Главное – выпивка, закуска и кавалер...

С парнями Аркадию было интереснее и легче. Таких, что населяли его город и травили с детского сада, в универе он почти не встречал. Да и те, поступившие в основном на платное, очень быстро уходили: «Эт не моё». Их не держали.

И всё равно найти настоящих друзей не удавалось. В определённый момент в мозгу будто щёлкал рубильник: дальше сблизиться нельзя, – и опускалась решётка. Приятели, товарищи – это не друзья. Им многого не расскажешь, а если расскажешь, будешь потом дрожать, что они начнут передавать другим. С приятелями и товарищами всё равно держишь дистанцию.

И на первом, и на втором курсах он продолжал, по сути, оставаться одиночкой. В комнате общежития, рассчитанной на четверых, отгородил, как и дома, уголок слева от двери. Даже шторку повесил между стеной и шкафом. Соседи покосились недоумевающе, но приняли это без подзуживаний и шуток.

На каникулы приезжал в родной город. Куда ещё было ехать? И на что?.. Стипендию выплачивали символическую, подработки – примитивные, вроде раздачи объявлений, флаеров, колки наледи на тротуарах, для которой жилищники нанимали студентов, – приносили копейки, мама присылала переводы редко и скупно. Сколько могла... На море или Питер скопить не получалось, да он и не особо пытался копить.

О доме тосковал. Заставлял себя не тосковать, старался убедить, что ничего там не было хорошего и ничего дорогого не осталось, что это дыра, в которой можно пропасть, но мозг оказывался слабее того, что называется душой. Иногда так там скребло, жгло, царапало, что Аркадий не мог уснуть, ворочался на панцирной кровати и боялся – парни решат: подрачивает наш монах...

Тоска казалась тем более неприятной, досадной, лишней, что тосковать-то на самом деле было не по чему. По наездам пацанов, издевательствам девчонок? По брату, которого он никогда настоящим братом не чувствовал? По огородику на краю города – этим трём соткам земли с постоянно зарастающими грядками? По квартирке, из которой с детства хотел исчезнуть, даже боженьку об этом молил?

Любимых мест на родине не появилось – горка, с которой часто смотрел на пруд, на лес вдали, на небо, была не любимым местом, а... Наверняка и в тюремной камере, где торчишь

много лет, появляется пяточок, на котором предпочитаешь находиться. Но это не значит, что пяточок этот любимый.

И всё же – тянуло. Воображение, опять же какое-то не мозговое, а душевное, что ли, – ни один из терминов, услышанных на лекциях, не подходил, – рисовало город светлым и мягким, их панельную пятиэтажку – свежей, узкий прямоугольник их с Юркой комнатки – самым уютным и надёжным местом на свете... Аркадий понимал: это простая идеализация. Объяснял себе: когда не живёшь в том месте, где родился и вырос, оно кажется всё лучше и лучше; когда не видишь людей, с которыми провёл рядом много лет, они в воспоминаниях становятся добрее и дороже, даже враги...

Однажды в общежитии Аркадий услышал песню.

Вообще пели часто, разное, и он всегда с интересом слушал, но эта песня проколола так, что он съёжился, будто действительно раненный в грудь, рядом с сердцем; чуть не заплакал. Выбрался из-за стола в той комнате, где сидели, ушёл к себе. Потом разузнал, что это за песня, чья. Оказалось, Егора Легова. Нашёл запись и часто слушал через наушники-«пуговки», таращась в потолок, перебирая прошлое, сожалея, мечтая.

Мама, мама – мы с тобой
Над землёю – под луной.
Тихо-тихо снег идёт,
Кто-то плачет и поёт.

Тихо слышен тихий смех,
Белый-белый, словно снег.
Кто-то плачет, кто-то спит.
Тот, кто плачет, – не убит.

Снег закроет нам глаза,
Там, где память – там слеза.
Мы забудем свою боль,
Мы сыграем свою роль...

Слова, может, и не такие уж сильные – Аркадий вообще относился к русскому року равнодушно, предпочитая англоязычный блюз, – но в сочетании с мелодией, спетые как-то особенно, они, слова, рождали тоску совсем другого свойства, чем донимавшая его обычно. Эта тоска была острее, болезненнее, но она не прибавала, а толкала вверх. Из душного мрака к кислороду и свету... Если бывает угнетающая тоска, то должна быть и возвышающая.

Мама редко проявляла свою материнскую любовь. Любовь заменялась заботой. Вспоминная их жизнь дома, Аркадий видел, что достатка никогда не было: мама экономила, выкраивала рубли на подарки на дни рождения, Новый год. И всегда подарки были полезные: новый портфель в школу, новая рубашка, новые кроссовки. Игрушки, велик доставались и Юрке, и Аркадию от других, уже выросших детей.

Мама заботилась. Кормила, стирала, гладила – гладила даже трусы и носки, видимо, то ли помня по детству, то ли зная от своей мамы, что горячий утюг убивает прячущихся вшей, клещей; она водила в парикмахерскую, к зубному, проверяла домашние задания, сама в свободное время читала учебники сыновей, чтоб понимать, что они проходят; она укладывала спать, а утром будила, пусть не ласково, но без визга и упрёков. Мама поддерживала в квартире порядок и старалась создавать какой-никакой уют.

Да, заботилась о них с Юркой, и это немало. Изо дня в день отбивалась от лезущей в дом бедности, не успевая целовать и ласкать, не имея возможности баловать. И её саму вряд ли

баловали родители – о них, оставшихся где-то в степях между Омском и Новосибирском, она за всё время упомянула раз пять... Кажется, её просто выставили за дверь и сказали: взрослая, теперь кормись сама.

Получила профессию, заняла место за станком и принялась плести сетку. Появлялись и исчезали мужчины, от каких-то из них появились сыновья. И она старалась их вырастить, вывести в люди так, как она сама это понимала.

Мама, мама... Слушая эту песню, Аркадий представлял их вдвоём в ночном заснеженном поле. Они не идут, а скользят в нескольких сантиметрах от земли. Они куда-то крадутся, к какой-то цели – наверное, к свету и теплу, – а вокруг во тьме посмеиваются завистливо-зло, тихо плачут те, кто не выдержал и опустил, увяз в топких сугробах.

Песня кончалась так:

Мы покинем этот дом,
Мы замёрзнем и заснём.
Рано утром нас найдут,
Похоронят и убьют.

Но Аркадий редко дослушивал до этих слов – нажимал «стоп». Последний куплет, вернее, три последние строки казались ему нелогичными, не соответствующими предыдущим куплетам. Ведь куда правильной, что мама и сын, покинув старый дом, долетают до того райского места, где забывают свою боль и совершают что-то такое, для чего созданы. «Мы сыграем свою роль».

И как-то ночью в своём крошечном закутке, с ушами, заткнутыми «пуговками», в очередной раз остановив песню, Аркадий поклялся маме, что изменит её жизнь. Она покинет эту пятиэтажку, она поселится в просторном, с большими окнами доме, она не будет больше экономить на всём подряд вплоть до спичек у газовой плиты, не будет ездить на завод, а потом, когда заводу не станет нужна, ждать почтальонку с жалкой пенсией. Он сделает маму счастливой.

Поклялся, конечно, себе. Но был уверен, что мама почувствует его клятву. И примет.

3

В начале третьего курса у него появился друг. Неожиданно, сразу. Но, наверное, так и должно происходить: долгое знакомство вряд ли может перерасти в дружбу. Дружба – это как любовь: с первого взгляда, слова. Будто некая сила берёт и соединяет двух людей. Или для дружбы, любви, или для лютой вражды.

Его звали Машак, но здесь он стал Михой, Мишей. На два года старше Аркадия, но только-только поступил в Архадемку – Архитектурно-художественную академию. До этого дважды штурмовал Московский архитектурный, между попытками отслужил в армии.

Миха родился и до восемнадцати лет жил в крупном райцентре, расположенном, правда, далеко в горах. Впервые в городе оказался подростком.

– Ущелье, а на дне сотни полторы домов, один-два этажа. Даже минарет у мечети коротенький, такой вот, – Миха показывал мизинец. – Как, слушай, всё боится с горами спорить, к земле жмётся. В старые времена, наоборот, вверх тянулись – у нас там такие башни есть! Как ракеты на старте. Но это прошлые люди строили. «Той говзанч» – мастера камня, по-нашему. А теперь... Скучно строят, прячутся, что ли...

Миха говорил без акцента, даже интонация была не кавказская. Только если сильно волновался, проскакивало что-то такое джигитское.

С детства он собирал картинки дворцов, небоскрёбов, замков, смотрел передачи, где показывали Ленинград, Москву, Париж, Венецию. Любимым занятием было лепить из пластилина или глины красивые дома. Занимался этим даже в старших классах под ухмылки ребят.

Лет в четырнадцать решил стать архитектором. Готовился к поступлению в институт, но больше в мечтах. В селе не было учителя черчения, библиотека скудная, про интернет у них только слышали, на уроках информатики компьютеры изучали по учебникам, верхом прогресса были калькуляторы... Да что там – свет давали по два часа утром и три часа вечером: электричество вырабатывали дизели.

В общем, в Москву Миха приехал с огромным желанием, но почти без знаний.

– И хорошо, что не поступил, – с чем-то похожим на благодарность в голосе признавался позже. – За это время столько узнал, увидел. Идей появилось – полная голова. Особенно в армии. Казарма очень способствует развитию фантазии. – И вполне искренне смеялся.

Аркадий и Миха познакомились в «Алёнушке» осенью две тысячи первого. Это было хорошее время: девяностые кончились, многое как-то обновилось, жизнь ощутимо пульсировала свежими токами...

Официально «Алёнушка» имела статус рюмочной – исчезающего советского аналога капиталистических пабов и баров; на деле же являлась клубом, где собиралась творческая, интеллектуальная молодёжь. И не только молодёжь. Да и всяких прочих посетителей было предостаточно – от малоимущих бизнесменов до бомжей, насобиравших мелочи на стопарик. Но каким-то чудесным образом и бомжи, и футбольные фанаты, и бизнесмены, и студенты мирно уживались в этом небольшом пространстве с десятком высоких столов, вели беседы обо всём на свете. От бесконечности Вселенной до повышения акцизов...

Кажется, в первую встречу Аркадий с Михой не обменялись напрямую ни словом, зато с интересом слушали друг друга, внимательно друг друга рассматривали.

Аркадий в тот момент был увлечён взаимосвязью работы человеческого мозга и окружающей среды и пытался всем рассказать, что спокойная, умиротворяющая среда мозг усыпляет. Сыпал цитатами из Джеймса Гибсона, не всегда, правда, дословными... А Миха говорил об аскетическом комфорте, функциональном минимализме.

Поведать о своих теориях подробно ни тому ни другому не удалось – рядом было ещё несколько ребят тоже с теориями и потребностью ими делиться.

Заодно опрокидывали рюмашки, жевали кисловатые бутеры, запивали пивом, и как разошлись, Аркадий помнил смутно... Вообще-то он не был любителем алкоголя, но иногда в то студенческое время перебирал.

Несколько следующих дней ему как-то упорно – будто зажигали внутри экранчик – вспоминался тот вечер в «Алёнушке», и неизменно в центре экранчика был парень, которого называли Михой.

Невысокий, широкий, в каком-то лохматом пальто, напоминающий медведя; глаза тёмные, блестящие азартом, крепкие скулы двигаются, играют – Миха ожидает короткой паузы в галдеже за столиком, чтоб продолжить своё – о пространстве, в котором человеку станет не просто удобно: он будет жить полезно. Не только для самого себя, но и для общества...

Эти слова о пользе, обществе не казались смешными и наивными – то ли Миха произносил их по-настоящему искренне, то ли – и скорее – действительно атмосфера была такая: тогда ещё верили, что вот-вот начнётся некая новая эра, что они в самом деле первое поколение новой России. Вот окончат институты и войдут в большую, взрослую жизнь хозяевами, произведут ремонт, расчистят кучи хлама и мусора.

Да, подъём был мощный, энергия захлёстывала. Её и сейчас хватает – и это отлично, – но Россия уже давно не видится единственным местом приложения своих сил. Вернее, прикладывать здесь силы всё рискованней, да и попросту слишком много их нужно приложить, чтоб сделать даже самое малое, пустяковое...

В Мике Аркадий сразу узнал друга, соратника по будущему делу. Потому, наверно, и не гас этот внутренний экранчик, не давая сосредоточиться на другом, – светил, убеждал: найди, познакомься как следует. И Аркадий пошёл в комнату к парню со второго курса, Сергею, который тоже был тогда в «Алёнушке», общался с Михой как с давним приятелем.

Как и Аркадий, он приехал из какого-то периферийного городка, поражал начитанностью, кругозором. Казалось, всё знал. С Сергеем советовались пятикурсники насчёт дипломов, преподаватели предрекали ему большое будущее. Ходили слухи, что ректор хочет оставить его при универе.

Позже Аркадий часто о нём вспоминал, пытался найти через соцсети, общих знакомых, но никто о Сергее ничего не знал. Даже не могли вспомнить, окончил он Гуманитарку или нет. Потерялся, растворился – и всё. Такое случается...

В общежитии Сергей уже на втором курсе находился в привилегированном положении – ему дали отдельную комнату. Не совсем это была, конечно, комната – изначально наверняка нежилое помещенье, склад для каких-нибудь тумбочек-полочек, инвентаря уборщицы, – но там были оконце, батарея, место для кровати, стула, стола. Так что Сергею завидовали – готовиться к зачётам, читать, когда у тебя соседи, невозможно. Оставалось или болтать, выпивать, или идти в библиотеку, искать пустую аудиторию в учебном корпусе. Благо общага находилась от него через квартал...

Чувствуя странную, какую-то новую для себя неловкость, хотя чего проще – спросить контакты такого-то чувака, Аркадий, стоя в дверях, понёс что-то про связь психологии с архитектурой, потом как бы случайно вспомнил о разговоре в «Алёнушке» и между прочим о Мике.

– Кстати, – вывернул на цель визита, – ты не знаешь, кто это? Интересные у него мысли, кажется, хотя и странные.

Сергей, явно удивлённый всей этой речью, ответил, что знает Мihu – познакомились с месяцем назад в дискуссионном клубе.

– По субботам собираемся. Базар, понятно, но взбадривает. Даже бред ведь полезен – есть от чего отталкиваться. – Второкурсник Сергей говорил тоном пожилого профессора. – Есть Михин пейджер, могу дать.

В то время почти все носили пейджеры. В карманах, футлярах, пристёгнутых к ремню. Это изобретение казалось чудом: где бы ты ни был, где бы ни был нужный тебе человек – можно послать несколько слов, решить проблему, договориться о встрече. Конечно, у некоторых уже появились мобильники, но стоили дорого. Нет, на саму мобилу можно было скопить, а вот оплачивать связь – нереально... Если б тогда кто сказал, что года через три о пейджерах и не вспомнят, мало бы кто поверил.

Теперь Аркадий слышал это слово разве что на радиостанциях – «эфирный пейджер». И начинали накатывать, как мелкие волны на пляже, воспоминания о студенческом времечке. Но иногда приходила волна такая, что накрывала с головой, заливала уши, перекрывала дыхание, и Аркадию требовались усилия, чтоб вернуться в разговор в студии...

Получив номер Михи, ещё дня два не решался послать сообщение. Выстраивал мысленно текст, и всё казалось то наглым, то двусмысленным... Другим парням отправлял запросто, первыми пришедшими в голову фразами, а тут застопорился. Но в конце концов послал – напомнил про «Алёнушку», предложил в ней же встретиться. Очень быстро пришёл ответ: «Конечно! Тоже хотел».

Ещё по одному сообщению – уточнение времени. Потом – встреча. Так началась их дружба.

Учёба быстро отошла на второй план. Главным стало общее дело – антропологическая архитектура и дизайн. Звучит и теперь странновато, а тогда однокурсники попросту хмыкали и пожимали плечами: фигня какая-то. Одно дело поболтать под рюмку, а другое – тратить многие часы.

Это было новое направление. Не направление даже, а философия. Молодые ребята в разных точках мира пытались создавать здания и пространства внутри и вокруг них такие, чтобы человек был по-настоящему счастлив. Не в узком смысле, а в глобальном. Счастье – это ведь не валяться сутками перед плазмой, счастье – желание что-то делать с удовольствием. «Деятельность души в полноте добродетели», как сформулировал Аристотель. В трущобах или заваленных дорогим хламом дворцах душа не хочет жить, и человек или впустую злится, или впадает в тяжёлую, бесплодную дремоту.

– Конструктивисты тоже добивались пробуждения души, – объяснял Аркадий, часто пересказывая слова Михи. – Чтобы душа начала действовать. Для двадцатых годов их идеи были прогрессивными, и люди с радостью селились в домах, создаваемых ими. Или взять американскую традицию коттеджей на одну семью. С лужайкой, садиком... Жить в квартире на каком-нибудь тридцатом этаже – там признак бедности... Деревья в парках, цвет мебели, расположение окон – всё это очень важно.

– А ты-то здесь при чём? – спрашивали однокурсники. – Ты ж психолог, а не архитектор, не этот... не дизайнер.

Слово «дизайнер» тогда ещё у многих вызывало иронию.

– Вот поэтому у нас столько уродливого в архитектуре, что психологи к ней не имеют отношения. – В таких разговорах Аркадий постепенно оттачивал дикцию, учился выражать мысли стройно и внятно. – Вернее, их не очень-то пускают... Но цивилизация пришла к мысли, что в разрешении каждой проблемы должны участвовать представители разных профессий. А среда обитания человека – не только в экологическом смысле среда – это проблема. Психологическая среда, наверное, проблема ещё большая, чем экология.

Кроме недоумевающих, готовых крутить пальцем у виска, находились и поддерживающие, и те, кто видел в их с Михой идеях способ заработать.

Начали поступать предложения от строительных, дизайнерских фирм проконсультировать, спланировать. Платили неофициально, в конвертах. Деньги были невеликие, да и работа не такая уж сложная, главное – по душе... Количество предложений росло, стало ясно, что вскоре пойдут и настоящие заказы.

4

Раньше, сдав летнюю сессию, Аркадий отправлялся домой на два месяца – до сентября. Теперь же, после третьего курса, лето обещало быть насыщенным делами. Но маму навестить он считал необходимым. Хоть неделю провести с ней.

Без всяких опасений позвал с собой Миху. Тем более тот на свою родину вроде не собирался, да и вообще о семье говорить не любил.

– Поехали. У меня там комната отдельная. Посмотришь на наш город. Пруд есть – покупаемся.

– Да, – Миха согласился без показушного стеснения, – поедем. А потом в Москву.

В Москву собирались не просто так – там появились заинтересовавшиеся их работой, наметились партнёры и клиенты...

Мама встретила Аркадия с другом растерянно, даже ничего сказать не могла. Потом отвела сына на кухню, закрыла дверь.

– Думала, невесту привезёт, а он вон чего! – глядя не на него, а в сторону, словно там стояла соседка, или Юрка, или кто-то ещё, стала жаловаться. – И что теперь? Позор-то-о...

– Мама, – вставил Аркадий, – это мой друг.

– Знаю я таких друзей, с первого взгляда вижу. Ой, позор-позор!.. Ну а что, этого и следовало ожидать: яблоко ведь от яблони... Господи-и...

– В каком смысле «яблоко от яблони»?

– А в таком... – Мама повернулась к нему, распалилась стремительно и всё сильнее. – В таком!.. Папуля твой таким же был. Красавчик порченный... Поэтовал тут меня, а потом – извини, я вообще-то не женщин люблю. И – ту-ту. Командировочный, опыт передавал...

– Что? Не понимаю. – От таких новостей Аркадий забыл про Миху и всю эту ситуацию.

– Я чуть не повесилась тогда... Черноглазый, белозубый, улыбка как у Челентано, а сам... И ты теперь, оказалось, такой же...

– Ничего я не такой. Я ничего не понимаю, объясни.

– Да нечего объяснять... Мы тогда с итальянцами дружили, вот и приехала делегация. И он... Не могу я сейчас. Всё. Потом. Выпроваживай этого своего.

– Мама, Миша мой друг, у нас общее дело. Зарабатываем уже...

– Угу, угу, знаю я.

– Что ты знаешь?! – Кажется, первый раз Аркадий повысил на неё голос. Но голос оказался не твёрдым, а каким-то тонковатым. И мама, на мгновение вроде бы усомнившаяся, что её младший «такой же», испугавшаяся своих обвинений, после этого вскрика окончательно поняла – Аркадий увидел по её глазам: нет, такой.

И она зашипела страшно, как змея, готовая укусить:

– Ты тут мне повизжи-ы! Повизжи-ы-ы ещё... Отправляй его обратно сейчас же. Из моего дома.

– Три дня поживём и поедем.

– Сейчас же, сказала. Сейчас Юрка придёт. Ты крови хочешь?

– Тогда я тоже...

– Не смей. А на огороде кто будет? И ремонт надо делать – обои вон валяются. Тебя ждала... – И у неё запрыгал подбородок. Теперь не от злобы.

Аркадий уступил. Вошёл в комнату – бывшую их с братом спальню, – где Миха разглядывал небогатую библиотечку, и стал натужно выдавливать междометия, стараясь отыскать в опустевшей или, может, чудовищно перегруженной голове нужные слова. Такие, чтоб Миха не обиделся, понял.

Он понял без них:

– Нужно уйти?

– Ну-у, мать что-то... Ты, пожалуйста, извини.

– Не парься. Всё нормально. – Поднял с пола сумку. – Жду тебя, а потом – в Москву.

Аркадий молчал.

– Да?

– Конечно, Мих, конечно!

Проходя через зал, Миха кивнул маме Аркадия:

– До свидания, Ирина Анатольевна.

«Запомнил, как зовут», – отметил Аркадий, и волна тепла и уважения к другу обдала изнутри, и следом – волна стыда за произошедшее.

Мама не отреагировала, механически передвигала посуду на раздвинутом праздничном столе – Аркадий сообщил, что приедет не один, но не сказал с кем...

– Давай, дружище, взбодрись, ведь домой вернулся. – Миха на прощание обнял его, погладил по спине, словно жалея.

...Потом пришёл Юрий с женой Светланой и детьми – пятилетним сыном и трёхлетней дочкой. Все плотные, приземистые, надёжные. Сидели за столом, ели тушёную капусту с мясом, салат «Мимозу», нажаренные мамой пирожки с луком и яйцами; Юрий разливал детям морс, женщинам – креплёное вино, им с Аркадием – водку... Аркадий пил мало, оставляя в стопке.

– Ну, эт некрасиво! – в конце концов возмутился брат. – Допивай давай.

– Не хочу.

– А-а, чумачача.

Так Юрка называл его с детства. Непонятно, откуда выкопал такое словцо и что оно вообще означало. Но произносил с таким презрением, что Аркадия обжигало. Даже теперь. Хотя ведь так, по сути-то, просто: посмотреть на брата так как-нибудь, чтобы понял, что выглядит глупо со своей чумачачей и другими подколами.

Да, вроде бы просто, а вот не получалось. Наоборот, Аркадий почувствовал, как стало печь щеки, а в глубине горла, между ключиц, заплясал горьковатый комок.

– Кстати, а где подруга-то? – спросила Светлана и даже огляделась, будто кого-то здесь могла до сих пор не заметить. – А, Аркаш?

– Не получилось у неё, – быстро и тоном, отсекающим дальнейшие вопросы, ответила мама. – Накладывайте салат давайте. Для кого я столько наделала...

– Только это, и уже всё? – Юрка посмотрел на Аркадия не с издёвкой, а с чем-то типа сочувствия.

– У них всё нормально, – ещё строже сказала мама. – Не получилось, говорю.

– Как хоть зовут?

Понимая, что отмалчиваться – только множить число вопросов и вызвать подозрительность, Аркадий бормотнул:

– Маша.

Брат кивнул, Светлана одобрила:

– Хорошее имя.

Некоторое время ели молча. Дети не торопились из-за стола – сосредоточенно жевали, время от времени бросая на Аркадия угрюмые взгляды. Так смотрели на него одноклассники в садике, одноклассники... «Мнюха, что ль, накрывает, – поддел себя. – Просто редко видят дядю, вот и смотрят так, привыкают».

После самовнушения стало полегче. Но тут брат ковырнул новым вопросом:

– Что после универа-то делать думаешь?

Вообще-то нормальный вопрос, но вот интонация...

– Работать думаю, что ещё.

– И куда ты со своей психи... психологией, так?.. Нам, трудягам, будешь впаривать: пашите, пашите и не думайте ни о чём.

– Во-первых, психологи не впаривают. А во-вторых, на завод я не собираюсь ни в каком качестве. Мы с... – Вовремя осёкся, поняв, что произнеси он «с Михаилом», начнутся расспросы о нём, да и мама наверняка рассердится. – Мы с моим знакомым один проект начали. Может быть, раскрутимся.

– Проектёры. У всех сейчас проекты.

– погоди, – остановила Юрку Светлана. – И что за проект?

Объяснять очень не хотелось. Но было надо – не сидеть же так, нахохлившись. И Аркадий, сначала с усилием, а потом увлечшись, рассказал об их с Михой концепции новой среды обитания, синтезе архитектуры, дизайна и психологии.

Светлана, в отличие от остальных, слушала внимательно, задавала уточняющие и дельные вопросы, и Аркадий опасался, что она попросится в их команду. «Возьмите, я рисую неплохо, вкус имеется...» Частенько подобное бывает: найди идею, расскажи о ней, и тут же начнут прилепляться.

Светлана работала учительницей начальных классов, уставала от детей, всё собиралась найти новое место.

Не попросилась. В тот раз.

...Вряд ли мама рассказала Юрке, что Аркадий приехал вместе с каким-то парнем и она того выпроводила. Скорее всего, соседи увидели, передали, напридумав кучу подробностей. И,

когда снова встретились через пару дней на огорожке, брат смотрел на Аркадия с явной брезгливостью, кривился, наблюдая, как он полет грядку, и в глазах читалось: поганишь морковку.

До разборок не дошло – всё время поблизости находилась мама, которая тоже заметила перемену в старшем, давала понять, что настоroje.

Аркадий пробыл дома немногим больше недели. Несколько раз пробовал расспросить маму о своём отце. Она сразу каменела, выставив предупреждающе руку... Удалось выяснить, что он итальянец, приезжал на их завод для обмена опытом в составе делегации. Мама была одинокой, у них закрутилась любовь – по крайней мере, она так решила, – а потом он сказал, что любит мужчин, извинился и уехал.

– А как его звали?

Мама нахмурилась, делая вид, что вспоминает. Потом вдруг – коротко, но ясно так, светло – улыбнулась:

– Вико.

– Вико? А почему я Андреевич?

– Что, Виковичем тебя надо было записать?

– Ну, хотя бы Викторовичем.

– Слушай, это моё дело. И не лезь.

Дома было тяжело. Каждый день начинался и тёк словно со скрипом. Утром ржавые шестерёнки приходили в движение, вращались медленно, натужно, обдирая кожу, зажёвывая мясо... Аркадий собрал сумку, но ещё день боялся сказать. Наконец решился.

– Надо ехать.

Мама дёрнулась.

– Как это? До учёбы ещё два месяца.

– У меня дела. Я говорил, что мы работать стали...

– К этому своему?

– Мама, я работать.

Он ожидал, что она встанет перед дверью и не даст выйти. Уже планировал, что дождётся, пока уснёт, и тихонько сбежит. Но после нескольких секунд какой-то внутренней борьбы она отмахнулась. Медленно, устало.

– Иди.

И он в первый раз увидел её старой. До этого была такой же, к какой он привык с детства, с того момента, когда начал осознавать и запоминать этот мир. И вот мгновенно изменилась – не крепкая женщина, а почти старушка. Хотя ей слегка лишь за сорок...

Шагнул, обхватил, зашептал:

– Мама. Мама, я стану богатым, успешным, известным. Я куплю тебе большой дом, ты будешь покупать самое лучшее. Лучшую еду, одежду. Будешь отдыхать на море. Тёплое море... Мама, мы с тобой будем самыми счастливыми. Честно.

Она не отозвалась ни словом, ни малейшим движением. Просто стояла внутри его рук. А когда он их опустил, повторила бесцветно:

– Иди.

– Мама, поверь мне – я еду работать. У нас дело. Настоящее, большое.

– Всё, иди, ради бога.

5

С тех пор прошло много лет. Аркадию тридцать семь. Он стал богатым, успешным, известным. Вместе с Михой они ездят по всему миру – их приглашают планировать виллы и парки, они читают лекции, консультируют, дают мастер-классы. Их агентство стабильно в мировых рейтингах. До вершин далеко; впрочем, само попадание в них значит очень много.

Под Петербургом, в Берлине и Бильбао у них свои дома. Не роскошные, но просторные, удобные, с кусочком земли.

Два-три раза в году Аркадий бывает в родном городе. Обязательно в апреле – на дне рождения мамы, часто летом, иногда – на Новый год.

Чем старше становится, тем сильнее тянет не только к маме – зовёт к себе сам город. Аркадий боится его, собираясь, вспоминает неприятное, обидное и всё-таки едет. Те несколько дней, что проводит на своей родине, где был и остаётся чужаком, давно стали как допинг, что ли, заставляющий двигаться дальше. Допинг горький, укол им болезненный, но он необходим.

Наверное, не будь там мамы, Аркадий бы не приезжал. Заставил бы себя забыть, вычеркнуть, стереть. Но мама продолжала жить в той же двухкомнатке, в окружении той же мебели, носила такую же одежду – удивительно, она находила халаты, вязаные шапочки, сапоги, юбки точно как тридцать лет назад.

В каждый приезд, во время каждого телефонного разговора Аркадий предлагал ей переехать. Сначала, когда агентство только разворачивалось, когда очень многое было лишь в перспективе, покупка дома или квартиры лишь планировалась, мама отказывалась уклончиво: «посмотрим», «пока ведь неясно», «надо подумать, взвесить», – а потом стала отвечать твёрдо: «нет, никуда не поеду», «дело решённое», «я ведь уже сказала».

Аркадий продолжал уговаривать, приводил новые и новые аргументы, расписывал удобства свежего, не заросшего хламом дома, красоту природы, показывал фотографии.

– Вот это под самым Питером. Официально – Петербург, Курортный район, но уже не город. Еловый лес вокруг, триста метров до Финского залива. Часть земли под солнцем, можешь огородничать... Или вот – Берлин. Далем, это район такой, в основном виллы. Парки, сосны. У меня сад, беседка в плюще... А это Испания, Бильбао, сказочный город. Прямо из центра за полчаса можно до моря доехать. На суставы жалуешься, а морская вода в этом случае – лучшее лекарство.

Она как-то слепо смотрела на фотографии в планшете, а потом говорила:

– Нет, не поеду.

Сначала ссылалась на внуков, а когда внуки выросли – на привычку:

– Как я там на новом месте? Не приживусь. Не хочу, боюсь.

Однажды, как показалось Аркадию, он почти уговорил, убедил маму, в тот момент разболевшуюся, злую на то, что лекарство, которое ей помогало, исчезло в аптеках – не прошло какую-то сертификацию. И тут Юрка ушёл от жены, поселился в маминой квартире.

Аркадий решил было: эта перемена может наконец столкнуть её с места, но, оказалось, она даже рада... Нет, не радовалась открыто – горевала, даже плакала, жалела о распавшейся семье и в то же время тепло говорила о Юрке, который с ней, нуждается в заботе, внимании, домашнем питании. И оправдывала его уход от жены и детей.

– А что, ребята выросли, оба – взрослые люди. Светлана себя независимой считает – ну и пускай. Юре отдых нужен, не мальчик ведь. Вот и пусть отдыхает. Заслужил.

– Пусть отдыхает, – соглашался Аркадий, – но и тебе отдых нужен. Поехали. Я всё оформлю. Там море, пальмы прямо на улице, каждый дом – произведение искусства, глаз не оторвать... Мама, поедем, пожалуйста.

Мама морщилась, будто Аркадий делал этими словами ей больно.

– А Юре кто будет готовить? Стирать? Мужчинам в этих делах помощь нужна.

Аркадий вспоминал себя. Если приходил со школы и мамы не было, то, поев, мыл посуду, прибирался на столе. Бывало, варил, жарил что-нибудь простое – картошку, яичницу. И маму это не умиляло. Потом пять лет в общежитии сам себя обслуживал и опять же не замечал, чтобы мама этой его самостоятельности радовалась, волновалась, как он.

А тут сорокалетний мужик ушёл от жены, вернулся к матери-пенсионерке, и она должна с ним нянчиться... Нет, главное – мама действительно с ним нянчится, причём с удовольствием.

В этот раз, в июле, Аркадий приехал домой уже без всякой надежды уговорить её изменить жизнь. Понимал: не сдвинется, даже в каком-то чудом построенный в их вымирающем городе новый дом, с большими окнами, с улучшенной планировкой, не переберётся. Будет здесь, в этой двушке, перегруженной в основном совершенно ненужными вещами, пропитанной пылью, которую не выскоблить никакими щётками, затхлостью, перед которой бессильны самые мощные моющие средства.

И серьёзный ремонт, с бригадой рабочих, заменой провисших антресолей, мутных окон на стеклопакеты, не разрешит сделать – Аркадий не раз заикался, но получал резкое, грубое «нет».

Поразительно, что мама не соглашалась даже облагородить огородик: забетонировать дорожки, поставить сарайчик для инструментов и навес, где можно посидеть в жару, обнести вместо бортов от грузовиков и сеток от кроватей нормальной изгородью. «Пусть так остаётся».

Это, конечно, вызывало досаду, обиду – ведь стать нынешним его заставило желание помочь ей, клятва, данная тогда, под горькую песню «Мама, мама, мы с тобой...». И вот он готов понести её над землей в ласковые края, поселить в светлом, свежем доме, окружить заботой, кормить самой вкусной едой, которую только придумало человечество. А она не хочет. Ей немного за шестьдесят, но она давным-давно поставила на себе крест. Быть может, ещё когда они с Юркой были маленькими.

И вместе с досадой и обидой росла любовь к ней. Не жалость, а именно любовь, и мама, особенно когда долго её не видел, не разговаривал по телефону, представлялась Аркадию какой-то святой. Мученицей, которой нужно поклоняться... Во время общения, правда, это чувство слегка пригасало...

Вылетел из Берлина, в Москве пересел на самолёт в областной центр, а оттуда на «Яндекс. Такси» рванул на родину. Недёшево, но Аркадий может себе позволить.

С собой вёз большой чемодан, набитый одеждой для мамы и продуктами. Знал, что одежду она наверняка отдаст Светлане и внучке, и большую часть еды тоже раздаст или скорпит Юрке. Впрочем, какое его дело. Его дело – подарить ей, а она пусть поступает как хочет.

Магазинов с качественными продуктами в их городе давно немало, но покупает мама по-прежнему самое дешёвое. И с годами эта привычка переросла в настоящую манию. Вместо того чтоб идти в ближайший «Магнит», она отправляется в «Дикси» за несколько кварталов, потому что там то-то и то-то на два-три рубля дешевле. Хотя Аркадий каждый месяц переводит ей немалые суммы.

Да и качество, конечно, сомнительное – российские продукты с европейскими не сравнить. Вроде одно и то же, судя по упаковке, но сорт здесь всегда второй, если не третий.

...Такси въезжает в город. Трасса превращается в один из четырёх проспектов – проспект Труда. Сначала за стёклами «шкоды октавии» тянутся длинные склады за заборами из бетонных плит, мелкие предприятия, ангары и боксы, гигантские бочки нефтебазы. Вдалеке видны трубы машиностроительного завода, благодаря которому город ещё населён.

Лет десять назад возникли – именно возникли, сперва как шепоток, потом всё громче – разговоры о том, что завод нерентабелен, необходима оптимизация – страшное слово для рабочих, – но затем главный человек в стране объявил: никакого закрытия не будет, назвал завод стратегическим, даже побывал на нём. Люди ликовали, благодарили главного человека, до сих пор он чуть ли не небесный покровитель для них... А может, и стоило оптимизировать – покатились бы отсюда жители, и маму бы удалось увезти...

Гаражи личных автомобилей – постройки разной высоты, ширины, напоминающие Город мёртвых в Каире. Ворота зелёные, коричневые, синие или просто ржавые, а кое-где ворот нет

вовсе и видно чёрное нутро брошенного убежища для машины... За гаражами ветхие фанерные будки с яркими вывесками «Шиномонтаж», «Масла, антифриз», следом – строительные магазины, оптовая овощебаза, а после начинаются жилые дома.

Конечно, ни один населённый пункт не открывается сразу дворцами и фонтанами, и любимый, пожалуй, город Аркадия Бильбао тоже окружён складами, заводиками, в нём тоже есть спальные районы, но здесь всё это было каким-то сгущённым, утрированным, особенно резким – режущим глаза и душу.

Каждый раз, въезжая сюда, Аркадий надеялся, что за три-шесть-десять месяцев что-то изменилось. Нет, унылость заборов, тоска одноцветных пятиэтажек становились только сильнее... Сейчас, летом, листва деревьев, трава, высокое небо слегка разнообразили палитру, а осенью, зимой, ранней весной хотелось завывать, забиться, закричать водителю: «Поворачивай обратно!»

Нельзя, что ли, выделить совсем небольшие средства и хотя бы раскрасить дома в разные цвета? Конечно, по науке, желателен подбор цветов, создание благоприятного для психики спектра, но можно и наугад: один дом салатовый, другой – розовый, третий – пусть останется серым, четвёртый – голубой, пятый – оранжевый. А если у властей нет средств, обратиться к жителям: давайте сделаем наш город красивым. И наверняка они откликнутся.

Но даже в областном центре огромные массивы такие же, как лет тридцать назад. Нет, хуже, мрачнее, конечно, – стареют, тускнеют. Есть, например, район Молодёжный, который в народе называют Панелька. Строили для себя молодые семьи – было такое движение в советское время: МЖК. Десятки абсолютно одинаковых панельных девяти-«свечек».

Может, в то время казались прогрессивными, симпатичными, квартиры в них – пределом мечтаний, но сейчас они вызывают ужас и панику: не «свечки» это, а гигантские обелиски, в которых легко заблудиться, глаза слепнут от серого цвета – цвета не бетона, а сухого цемента. Действительно, словно кладбище, а не часть города, населённого живыми людьми, рождёнными для радости, красоты, любования миром...

Не так давно появилась строительная компания «Кандинский». В разных микрорайонах областной столицы она возводит весёлые, с большими окнами, пёстрые многоэтажки. Но они, к сожалению, только подчёркивают главенствующую, властвующую серость.

– Здесь налево, пожалуйста, – сказал Аркадий; даже с навигатором многие водители пропускают этот узенький, один из многих, переулок.

Машина свернула и сразу заскакала по колдобинам. Асфальт на проспектах содержат в относительном порядке, а большинство улочек и переулков – как после бомбёжки.

Тряслись недолго – вот уже родная пятиэтажка: бетонные панели с чёрными швами, забитые всякой всячиной балконы, крошечные и хлипкие, два подъезда, выщербленные козырьки над ними. Внутри – сорок квартир. В одной из них он вырос.

6

– Привет, – зашептала мама, – заходи. Тише только – Юрка спит с дежурства.

Тут, как назло, чемодан ударился о тумбочку.

– Ну не греми ты, говорю!

Уже такой встречи Аркадию хватило, чтоб раскаяться. Зря приехал. Помешал...

Стало неловко за себя, за маму, за громоздкий чемодан, наполненный ненужными, по сути, подарками. Даже за это ласково произнесённое «Юрка». Его мама никогда «Аркашка» не называла, в последние годы только «Аркадий». Ни нотки теплоты. Как к чужому обращалась.

Обнял маму, она тут же попятилась:

– У меня там варится...

Но не ушла на кухню.

– Как дела? – спросил Аркадий. – Юра всё с тобой?

– А куда ему? И зачем? Нормально... Живём.

В этих коротких фразах слышалось: не лезь не в своё дело.

Аркадий пожал плечами, вошёл в зал. Постоял, потом сел на диван. Пружины со скрипом сжались, и скрип тоже был враждебный, недовольный.

– Голодный? – спросила мама.

– Да так...

– Юрку тогда дождёмся и поедим.

– Хорошо...

Она чем-то занималась на кухне, а он сидел и ждал. Начать сейчас разбирать чемодан – значит производить звуки и тем самым раздражать маму. Книги были в той комнате, где спал Юрка. Телевизор включать не стоило даже без звука, да Аркадий и не смотрел его.

Зал с каждым приездом становился всё меньше. Будто съёживался, ссыхался. Может, из-за вещей, которые старели, темнели, а скорее, Аркадий просто отвыкал от подобной планировки, такой мебели, ковра на стене, съедающего пространство. И жил, и бывал в основном в домах светлых, свежих, с продуманной цветовой гаммой, правильным освещением. Даже самое маленькое пространство можно сделать просторным, если подойти к его устройству с умом. А тут... Мебель не подбиралась, а поступала по случаю, предметы не соответствовали друг другу. Ковёр...

Этот ковёр Аркадия раздражал больше всего. Глупый советский ярлык того, что квартира не из бедных. Теперь же он давно демонстрирует, что в таких жилищах обитают отсталые, безвольные, косные люди.

Мама звякнула крышкой кастрюли и тихо, но зло заругалась на себя. И Аркадий мгновенно тоже наполнился злобой – злоба втекла в него бешеным потоком, забурлила, утопила сердце, мозг в едком яде. Злоба была не на маму, а на брата. Брат сейчас мирно спал, а Аркадия колотило от ненависти.

Представилось, что Юрка вышел из спальни. Да нет, Аркадий увидел его отчётливо, будто в реальности. В широченных клетчатых шортах до колен... Толстые волосатые голени... Застиранный домашний майка... Мускулы давно спрятались под слоем сала... Кожа бледная, рыхлая, с веснушками... На левом плече расплывшаяся по лишней коже татуировка – парашют, самолёт и буквы «ВДВ»... Волосы редкие, недлинные, но при этом спутанные, над висками торчат в стороны, как у клоуна... Глаза маленькие от долгого сна, на подбородке и щеках седоватая щетина... Майку задирает круглое тугое пузо, темнеет ямка пупа...

Злил не сам вид стареющего брата, а эта его вопящая о себе запущенность. Этаким пупс, но не пятилетний, а на пятом десятке. Сейчас раскроет пасть и тонким голосом потребует: «Мама, ням-ням». И мама, забыв о другом сыне, который давно привык сам о себе заботиться, сам себя кормить, бросится к этому пупсу с тарелкой и ложкой...

Пупс нажрётся и плюхнет перед теликом. И, поглаживая пузо, порыгивая и попукивая, станет комментировать происходящее на экране, то и дело переключать каналы, ни на одном не находя для себя интересного. И бубнить, бубнить.

Отвратительное это действие прошлым летом Аркадия взбесило. Брат наткнулся на репортаж о гей-параде в Киеве.

Выковыривая спичкой из дуплистых зубов остатки хамона, тяжело выдыхая пары граппы, Юрка отложил пульт и заворчал:

– О, пидоросня веселится. Хе-хе... Да мордой об асфальт и яйца вырвать... Твар-рюги, а...

Вроде ворчал, но так, чтоб слышали. Наверняка обращался к Аркадию. Аркадий молчал. Брата его молчание распаяло – голос стал громче, с окраской:

– Ненавижу! Животные! – И оглянулся, затеребил взглядом: ну давай, чумачача, скажи что-нибудь, скажи; Аркадий смотрел на него и продолжал молчать – не хотелось грызни. А Юрка не унимался: – А вы-то с этим как? Как его? Вы-то не ходите на такое? – Подмигнул с усмешкой, мол, не стесняйся, поведай.

Аркадий надеялся на защиту мамы. Но она, словно ничего не происходило, собирала в стопку пустые тарелки. И тогда Аркадий ответил.

За минуту сказал брату всё: про его никчёмную жизнь, паразитство на материнской шее, показательную тупость, про все эти идиотские словечки, которые произносит с таким удовольствием, – «зашквар», «бетонить», «не отразил», «чуры», «ватокаты».

– Ты и есть животное, Юрий. Бесплезное и агрессивное.

Ожидал, что брат вскочит и кинется в драку, но тот не двигался. На широком мятом лице сохранялась усмешка, точно был рад, что Аркадия прорвало.

Да и случись драка, вряд ли бы старший победил – вялый, размякший, потерявший здоровье в этом продавленном кресле. Три-четыре раза в неделю посещавший фитнес-залы Аркадий теперь наверняка был сильнее. Никогда не дрался, но грушу бил так, что в ней надолго оставались вмятины от его шингарт. Так что вломить, особенно в таком состоянии, мог прилично. Был готов, глазами звал Юрку. Разобраться, расставить точки...

Но Юрка продолжал сидеть. Держал губы в усмешке. Зато накинулась мама. Не буквально – словами, но хлёткими как пощёчины:

– Прекрати сейчас же! Ишь ты! Чего разошёлся-то, а? У тебя одна жизнь, у него – другая. И нечего судить. Ещё посмотреть надо, кто полезный, а кто нет. Он столько лет на заводе, двое детей – род наш продолжил. А ты чего? Ты-то чего?.. Мне тоже эти, – мама кивнула на телевизор, – поубивала бы.

Аркадий ушёл в соседнюю комнату. Взял первую попавшуюся книгу, сел на свою кровать. Делал вид – для самого себя делал вид, – что читает. А на самом деле невидяще смотрел на страницу, стараясь унять колочение, проглотить ком обиды. Но он, этот ком, прыгал и прыгал в горле, и во рту стало кисло... Ночью долго лежал с открытыми глазами, прислушивался, ждал, что брат налетит, станет колошматить или душить. Обычно раздражающий храп Юрия в эту ночь был приятен – означал, что тот спит, и Аркадий тоже засыпал под храп, а просыпался от тишины.

Ссора на другой день не продолжилась, но обстановка была натянутая. Особенно в отношении мамы к Аркадию. Она не разговаривала с ним, не смотрела на него; Аркадий не решался обсудить вчерашнее, боясь нового потока обидных слов. Юрка же, помалкивая, явно торжествовал от того, что мама заступилась за него, а Аркаша-какаша остался виноват.

Через два дня Аркадий уехал, потом побывал на мамином дне рождения – всего сутки, – а теперь приехал, как думал, недели на полторы. Но сейчас понял: вряд ли выдержит так долго. Его откровенно не хотят здесь видеть. Нет, увидеть, может быть, хотят, а видеть изо дня в день – нет.

И он, тридцативосьмилетний человек, известный, успешный, уважаемый и любимый многими тысячами, почувствовал себя здесь, в родной квартире, на диване, где играл первыми кубиками и погремушками, обложенный подушками и одеялом, чтоб не свалился на пол, таким маленьким, одиноким, беззащитным, что потянуло забраться на диван с ногами, свернуться, спрятаться в себе самом. Тихо, без всхлипов, заплакать.

Выскочило воспоминание, и лечь, свернуться, заплакать сразу расхотелось. Воспоминание это когда-то уже выскакивало из глубин памяти, очень глубоких глубин: он, Аркадий, просыпается, он ещё не умеет вставать и ходить, поэтому лёжа зовёт маму, зовёт не словами, а крикливым плачем – слов он тоже пока не знает.

Но не подходит ни мама, ни брат, которого она часто оставляла с ним. И Аркадий – сколько ему было тогда, он теперь боялся даже гадать, чувствуя, что это будет возраст, от

которого не может оставаться воспоминаний, – Аркадий осознаёт: он один. Один. Никто не накормит, не согреет, не скажет хороших слов, и он не улыбнётся в ответ и не забудёт ножками, ручками... Обрушился страх – тот страх, какой не даёт даже плакать, – и Аркадий чуть не захлебнулся им.

Кто в конце концов подошёл, кто стал успокаивать, гладить, он не знал. Да и не хотел знать ни тогда, ни теперь – главное, кто-то появился. Родной, чужой... И страх сменился тем, что принято называть счастьем, и воспоминание обрывалось. Обрывалось на ощущении счастья.

Потом вспоминалось не раз – в дошкольном детстве. Года в четыре, в пять, в семь – в тот период, когда Аркадий ещё не свyksя, не сросся со своим «я», со своей отдельной жизнью, не научился быть один. Когда зависел от других, ближних, и боялся возможного одиночества. Не какого-нибудь там душевного, духовного, а самого настоящего. Простого и по-настоящему жуткого, когда ты – один.

Но быть один приучился, даже стремился к этому – окружающие чаще всего обижали, а одиночество подсовывало интересные книги, передачи в телевизоре, учило фантазировать, мечтать. И вот сейчас, спустя годы, этот страх навалился снова, схватил так, что стало невозможно дышать...

Вскочил, потёр горло, пошёл на кухню.

Там что-то жарилось, тяжело пахло жирным и несвежим. Мама скоблила картошку.

– Мама, – хрипло, сквозь удушье, спросил Аркадий, – почему ты меня не любишь?

Она с готовым, словно отретпетированным недоумением глянула на него.

– Как не люблю – люблю.

И продолжила царапать ножиком угреватый клубень. Но царапала торопливее.

– Нет, мама, не любишь. Я... я вот там сижу, и ты даже... – Хрип исчез, вместо него возникло повизгивание; Аркадий прокашлялся громко и некрасиво. – И ты даже ни о чём меня не спросила, ушла сразу... а я там...

– Чего спрашивать? Всё ведь знаю. Готовлю вот... Юрка встанет, сядем за стол и поговорим.

Он слушал эти слова, вроде бы здравые, справедливые – ну да, сядем за накрытый стол и будем разговаривать, – но уверенность, что прав, только крепла. И вместе с этой уверенностью чувствовал, как слабеет. И снова захотелось лечь на диван, свернуться, сжаться...

– Неправда. Когда любят – не так всё... не так встречают, смотрят... Я раньше думал, что у тебя времени не хватает меня любить, что устаёшь, что постоянно ищешь, чем нас накормить, одеть... – Аркадию было стыдно это говорить, но не говорить он не мог. – Мечтал: вот я заработаю много, и изменится, будем путешествовать, и ты изменишься... Твоё отношение. Я ведь для тебя всё это делал, чтоб ты по-другому жить стала, в другом во всём... А потом понял: не в этом дело – что б я ни сделал, ты такая же... Ко мне... Думал, ты Юру слабым считаешь, хотя он такой... крепкий... был, поэтому так его... как с маленьким. А я сильный, дескать... Нет, не так, не это... Просто его ты любишь, мама, а меня – нет. Видно же, когда любят, а когда не любят. Терпят. Меня ты терпишь. Но я ведь не этого... Мне не это нужно.

– Да люблю я тебя, господи! – Мама бросила картошку в раковину. – Что за истерика? Люблю. А Юрка – у него видишь как всё случилось. Ему действительно поддержка нужна. А кто его поддержит?

– Поддержка – это одно. Это другое совсем... Я просто вижу, как ты на него смотришь, как всегда на его сторону, если что... Ты с ним всегда.

Аркадий привалился к стене – боялся, что упадёт. Ноги сделались совсем слабыми. Мама снова взяла картошку, заскобила; нож сдирал и шкурку, и уже очищенное.

– Ну да, – согласилась, – с ним. Он здесь всю жизнь. Рядом.

– Я не про то.

– А про что?

– Про любовь.

– Заладил. Мне никто про любовь эту не говорил, так с чего я должна...

– Не обязательно говорить. Любят и без слов. Я вижу, что Юрия ты любишь, а меня...

Что-то не позволило ему договорить, повторить это «нет». Наверное, лицо мамы – такого выражения Аркадий ещё не видел... Она отчётливо и мучительно пыталась проникнуть в то, о чём говорит младший сын, в чём её упрекает. Может, копалась в себе, ворошила прошлое, чтобы ответить, – не отмахнуться словами, а действительно ответить. Объяснить ему и себе, почему же так. И Аркадий замолчал, боясь разрушить это её состояние.

– Ты другой, – сказала. – Юрка – он мужик. И всегда им был, даже когда в пелёнках лежал. А ты, Аркаша...

«Аркаша» упало ему на душу, как горячая капля.

– Другой ты, не такой. Чужой какой-то. Как... ну, как не мой сын. Но, – мама спохватилась, – мой, я знаю, вижу. Ты на своего отца очень похож. И он другой был, не как все, и ты... И взгляд другой, и всё. Движения, запах. Немужик, понимаешь? Немужик... И я не знаю, как с тобой. Как относиться, говорить что. Юрка понятный, а ты... И ни семьи, ни детей. И вот я не знаю... сердцу, народ правильно говорит, не прикажешь. Уж извини, но не прикажешь себе ведь.

Последних слов Аркадий уже не слышал – в голове билось это «немужик». Странное, непривычное, уродливое. Билось, постепенно входя глубже и глубже, как тупой гвоздь. «Немужик... немужик... немужик... немужик...»

Вышел из кухни. Постоял, часто моргая, оглядел зал, будто видел его в первый раз. Тесный, убогий, нечистый. Подумалось: «Что я требую от них, какой любви?» Шагнул широко, как через яму, в прихожую. Снова постоял, потрогал высокий – ему почти по пояс – чемодан. Там сыр, колбаски – надо их в холодильник...

Стал обуваться.

– Ты куда? – за спиной оказалась мама.

– Я... пройдусь немного... посмотрю...

– Недолго только давай. Юрка встанет – и сядем.

– Да.

Снял с вешалки куртку. Нащупал в одном кармане бумажник, в другом – плашку айфона.

– Зачем куртка-то? Там жара такая – спечёшься.

– Так... Пусть будет. – Открыл дверь.

Задержался на пороге, ожидая, что мама ещё что-нибудь скажет. Одёргнет, сделает замечание... что-нибудь. Молчала. Чувствовал – она здесь, смотрит на него. Наверное, мысленно топчит, чтоб скорей вышел...

Во дворе было тихо, безлюдно. Взрослые на работе, дети на прудах.

Медленно, как старый или больной, Аркадий добрёл до скамейки. Сел, потёр ладонями виски, пошлёпал по щекам. Хотелось как-то проснуться, что ли. Очнуться.

«И чему ты так поразился? – спросил себя. – Ты про это всю жизнь знал. Чего теперь разыгрывать трагедию? Сам маму вынудил сказать. Заставил. Она сказала, а ты расстрадался».

– Правильно, – ответил вслух и повторил твёрже: – Всё правильно.

Рефлекторно вынул айфон, зажёл дисплей. Коснулся пальцем зелёной иконки с белой трубкой. Появились столбиком имена тех, кому он недавно звонил. Выше всех – «Машак». Да, разговаривали сегодня утром, когда прилетел в область.

Миха сейчас в Кракове, занят новым проектом, их совместным проектом, но Аркадий сорвался сюда. На несколько дней. Миха отпустил, конечно, он понимает, что значит мама, семья. Он давно лишён этого. Ему нельзя домой. Со своей мамой виделся несколько раз, тайком от отца и братьев, то в Геленджике, то в Анапе.

И сюда Михе нельзя... Вот кто по-настоящему может остаться одиноким. А у него, Аркадия, это всё ерунда. Семейные тёрки, хе-хе... У него ерунда.

«Переформи билет и лети сегодня. Завтра к обеду будешь там, – велел тот же голос, что минуту назад объяснял: ты сам вынудил, а теперь страдаешь. – Лети, увлекись работой».

Действительно, вызвать такси. И всё. Сразу в аэропорт. Рейсов в Москву вечером несколько. Там пересадка до Варшавы, оттуда – в Краков. И отсечь вот это всё. Иногда звонить, присылать деньги, но убедить себя, что в родной город больше не попасть – он в другом измерении, на другой орбите... Да, звонить, переводить деньги, но не приезжать. Отсечь и перестать мучиться.

Аркадий убрал айфон, снова пошлёпал себя по лицу. Глубоко вдохнул и выдохнул, поднялся и пошёл домой. К маме и брату.

А папа?

Наверное, и до этого у Гордея была жизнь. Наверное, он плакал, смеялся, смотрел телевизор, играл в игрушки, рыл пещерки в песочнице, знакомился, дружил и ссорился с мальчиками и девочками. Но теперь он ничего не помнил о том времени. Ещё совсем недавно, вчерашнем. Оно забылось, как сон утром. Лишь пёстрые блики, ощущение, что там было важное – хорошее и плохое, – а что именно, пропало. Стёрлось, испарилось, исчезло.

Остались лишь мама, знакомая одежда на нём и две большие сумки, возле которых он, Гордей, стоял недавно, радостный и довольный, ел что-то сладкое и душистое. И воздух пах тогда вкусно, и много-много тёплой воды было перед его глазами, и нестрашно кричали бело-серые быстрые птицы в небе... Но где это было, где он стоял...

Теперь эти сумки мама катила так, будто у нее совсем кончились силы, и стонала. Гордей пытался ей помогать, а мама говорила сердито и мокро:

– Да не висни ты! Не висни, господи!

Пришли туда, где много людей, и все с сумками, чемоданами, тележками. Одна тележка чуть не сбила Гордея с ног; он вовремя спрятался за маму...

Остановились у вереницы одинаковых домиков на колёсах. Домики походили на лежащие на боку огромные чемоданы, но в них были окна.

– Мама, это поезд? – спросил Гордей, обмирая от радости и страха.

– Поезд, поезд... Вон наш вагон...

Мама подала бумаги женщине в синем костюме. Та посмотрела и сказала:

– Места девятое, десятое.

Дверь была высоко, к ней вела лесенка. Мама стала поднимать сумки, но у неё не получалось.

– Помогите, – попросила мужчину, стоящего рядом и ждущего своей очереди забраться в вагон.

– Я не носильщик, – сказал мужчина.

Мама прошипела что-то, собралась с силами и закинула сначала одну сумку, потом другую.

– А и хрен с ним, – хохотнула зло, – всё равно больше рожать не хочу!.. Гордей, залазь. Живо!

Долго ли они ехали в поезде, он не понял. Стал осматривать полки, столы – один на палочке, другой висящий без всего, окна с двух сторон, в которых побежали дома, деревья, облака, – и уснул.

Разбудила мама – вытолкнула из уютного мирка, который сразу пропал, – усталым и строгим голосом:

– Поднимайся. Сейчас выходить.

Гордей сел, ощупал себя, понял, что одет, готов, и тут же веки отяжелели, голова склонилась...

– Пошли-пошли!

Одну сумку мама несла в руке, другую катила. Он плёлся сзади, боясь спрашивать, куда они едут, где сейчас выйдут. Вагон покачивался, и Гордей ударялся о разные выпирающие в проход штуковины. Делалось больно, но жаловаться он не смел...

Та женщина в синем костюме была у двери. Когда поезд начал тормозить, отомкнула её большим ключом, а когда почти остановился – открыла.

Наклонилась и с лязгом опустила лесенку.

– Минуту стоим, – сказала маме.

Мама дёрнулась:

– Так пропустите!

Женщина подвинулась, и мама стала спускать по ступенькам первую сумку. Сумка спускалась медленно; мама плюнула – «тьфу!» – и бросила её вниз. Потом так же – вторую. Подхватила Гордея... Гордей хотел сказать, что он может сам. Угадал: не надо. С мамой сейчас не надо спорить. И даже говорить ей ничего не надо. Лучше молчать.

На улице было странно. Вроде тепло, но приходили волны сырого холода, и тело начинало дрожать; вроде темно, а с одной стороны небо краснело и выше сочно синело, как та тёплая вода в забытом хорошем месте.

Под вагонами шикнуло, и поезд поехал. Сначала медленно, через силу, но тут же набрал скорость, и последние вагоны промчались мимо Гордея и мамы так, что завихрило.

Мама открыла одну сумку, вытащила кофту. Протянула Гордею:

– Одевай.

Он послушно стал её натягивать, колючую и маловатую. Но запутался, и мама, всхлипнув, резкими движениями ему помогла.

– Пойдём на вокзал.

Вокзал был большой комнатой с сиденьями. На нескольких скрючились во сне люди. Мама посмотрела на часы и пробормотала:

– Ещё два часа. Чёрт... – Повернулась к Гордею: – В туалет хочешь?

– Нет. – Он честно не хотел.

– Садись тогда. Поспи.

Он сел, положил голову на спинку сиденья, закрыл глаза.

Спать теперь не получалось, но он мужественно сидел так, с закрытыми глазами. Казалось, если будет слушаться, что-то изменится. Снова станет как в том времени, которое теперь он не помнил. Только ощущал.

Может, потому и не помнил, что там было хорошо и понятно, – для чего запоминать? А вот это всё, происходящее сейчас, он, знал, запомнит. И будет долго разбираться, что происходило, зачем сумки на колёсиках, такая будто чужая мама, зачем поезд, вокзал, это неудобное сиденье...

– Пора, – раздался мамин голос, и сразу за этим – лёгкий тычок. – Встаём. Сейчас автобус приедет.

Автобус оказался коротким, с одной дверью и узким проходом внутри. А людей – много, все места заняты. Стоявшие люди ругались на маму, что она всё заставила своими сумками.

– Я за багаж заплатила! – отвечала мама металлически.

Люди продолжали ругаться. Гордей жался к сумкам.

Потом автобус поехал, и люди постепенно стихли.

Дорога была в ямах и кочках, Гордея подбрасывало, болтало, и вскоре он почувствовал, что в глубине горла стало горько, там забулькало.

– Мама, – позвал он.

– Что? – Мама пригляделась и стала доставать что-то из кармана. – Тошнит? – Развернула пакет. – Давай сюда вот.

Гордея вырвало. Чуть-чуть. Наверное, потому что он давно ничего не ел и не пил. И ещё – он изо всех сил сдерживался. Было стыдно, что это с ним случилось. Все вокруг ведь нормально едут.

От этой мысли – что он сдерживается – Гордея затошнило снова. Мама подставила пакет и кому-то в сторону зло сказала:

– Вместо того чтоб кривиться, место бы уступили.

– Аха, я должен такие деньжищи за билет выкладывать и ещё стоя ехать, – ответил хрипловатый мужской голос. – Щ-щас!

Люди снова стали ругаться. Но теперь ругали не маму, а этого мужчину с хрипловатым голосом. А одна пожилая женщина поманила Гордея:

– Иди, милый, ко мне на коленки.

Гордей замотал головой, а мама толкнула его:

– Ну-ка давай. Ещё в обморок хлопнуться не хватало. Иди, сказала!

Гордей не любил чужих людей, не привык к ним. В садик его пока не отдавали, и он не научился быть в коллективе. Разве что на детской площадке, но тех детей он теперь забыл.

А автобус был тем самым коллективом. Не дружным, и всё-таки каким-то единым.

– Иди, иди, – говорили люди с разных сторон. – Посидишь, ножки отдохнут, животик уляжется.

На мягких ногах женщины действительно стало получше. И Гордей не заметил, как положил голову ей на грудь, а потом свернулся калачиком, приобнял... Ему стало казаться, не мыслями, не словами, а неосознанным чувством, что он в кровати, как совсем маленький, и её, эту мягкую, тёплую кровать, покачивают бережные руки. Мамины или кого-то ещё, родного.

И опять тормошение.

– Просыпайся! Вставай, говорю! Подъезжаем!

Гордей с великим усилием вернулся из дрёмы. Жалобно стал оглядываться вокруг, не понимая уже, где он, что ему делать.

– Пора тебе, милый, – сказала женщина, – мама зовёт. – И спустила в проход меж сидений.

Мама была в начале автобуса. Устраивала там сумки у двери.

– Шагай сюда живо! – велела Гордею.

Потом шли по улице без асфальта. Вместо асфальта была кочковатая земля, ямки присыпаны чем-то серым, хрустящим. Может быть, потом, когда подрастёт, Гордей узнает, что это зола от сгоревшего угля.

Справа и слева домики в один этаж, ворота, покрашенные синим или зелёным, тянулись щелястые заборы... Улица была длинная, однообразная, и уставший Гордей не верил, что у неё есть конец.

У одних ворот, некрашенных, деревянных, мама остановилась.

– Ну вот, – выдохнула успокоенно.

А Гордею стало страшно от этого выдоха. словно мама поставила точку, но поставила в неправильном месте. Он слышал, что писать – это очень сложно. Кроме букв, есть ещё точки, запятые, какие-то другие знаки, и если их поставить не там, то слова станут означать не то что нужно.

Мама взялась за железное кольцо и открыла калитку в воротах. Перекатила через деревянный порожек-доску сумки. Одну, другую. Оглянулась на Гордея:

– Заходи. Чего ты...

Он послушно вошёл на заросший травой двор. По центру трава была низкая, а вдоль забора, у ворот – высокая, волосатая, с тёмно-зелёными листьями.

– Это крапива, – сказала мама, – её не трогай. Кусается.

В мамином голосе появилась жизнь, даже что-то весёлое... Нет, не весёлое, а такое, от чего Гордею стало легче. Захотелось прыгать, играть.

Слева стоял домик с дверью, обитой чёрным потрескавшимся материалом. Дверь заскрипела, когда мама потянула её на себя.

– Тётъ Тань, – позвала мама. – Ты тут?

Из глубины домика ей что-то ответили.

– Пойдём, – сказала мама, втаскивая сумки в полутьму.

В этой полутьме было душно и жутко. Так, наверное, выглядит жилище Бабы-яги. А вот и она. Тёмная, в платке, налезавшем на лицо, в сером переднике. И скрипуче она говорит:

– А, прибыли? Я уж и ждать перестала.

– Да всё так... – жалобно отозвалась мама, стала объяснять: – Думала, наладится ещё.

Ждала тоже...

– Ну чего ж, проходите. – И Баба-яга, наоборот, сама пошла к ним; Гордей прижался к маме. – А это и есть твой?

Мама быстро и мелко закивала:

– Он. Гордей.

– Не дождалась Ольга-то. Не увидала.

– Да-а...

– А как его так, ну, ласково называть?

Мама посмотрела на Гордея:

– Гордюша, наверно.

– Гордюша... Это от «гордый» получится.

– Ну, не знаю. Можно Гордейка как-нибудь... Я Гордей и Гордей зову.

– Ладно, проходите. Чего в пороге мяться...

Мама подтолкнула Гордея вперёд:

– Познакомься, это баба Таня. Твоей родной бабушки Оли сестра. И тоже, значит, твоя бабушка. Понял?

В доме пахло невкусно. И то ли от этого запаха, то ли от усталости Гордея снова стало тошнить. Он глотал набегающую изнутри в рот горечь обратно, а она возвращалась.

– Как доехали-то? – спросила баба Таня.

– Боле-мене... Доехали.

– Есть, поди, хотите?

– Я бы поела. Привезла тут кой-чего. – И мама стала открывать одну из сумок.

– Доставай-доставай. У меня-то не шибко. Пенсю почти всю Виктору отсылаю. До сих пор всё работу найти не может... В наше время каждая рука наперечёт была, а теперь – гуля-ай...

– Я деньги оставляю, – перебила мама. – Вы Гордея как-нибудь... ну, чтобы не голодал хоть...

Баба Таня всплеснула руками, передник колыхнулся, как лист картона.

– Ты чего молоть начала?! Голодать, ишь! Хлеб с мёдом всегда будут. У меня ж хахалёк пять ульев держит. – Она заговорила тише и как-то сладенько. – Геннадия помнишь? Вот он ко мне, как свою схоронил, прям лезет, как этот... Так. Картошки полно подполье... Огород счас пойдёт, огурцы все в зародках... Голодать он будет... Придумала!

– Спасибо, спасибо, тётъ Тань, – дёргала головой мама. – Я так... вырвалось.

– Много у вас вырывается... С ума послетали в городах, вот и беситесь. Своды-разводы... Держать себя надо, чтоб не вырывалось... Ладно, руки вон мойте и давайте есть, что ли. С дороги-то...

– Я не хочу, – твёрдо сказал Гордей.

Мама посмотрела на него; лицо её было страшным.

– Как – не хочешь?

Гордей представил, что в него насильно запихивают чужой ложкой из чужой тарелки что-то тёплое и вязкое, как каша, и ему стало противно до слёз.

– Не хочу, ма-ам!

– Ты со вчерашнего вечера ничего...

– А не уговаривай, – сказала баба Таня. – Не уговаривай. Захочет – сам подойдёт, просить станет. Чего баловать? – И махнула Гордею на дверь: – Поди погуляй, двор погляди.

Мама испугалась:

– Как он один там?

– А чего? Калитку закрыла?.. И пускай. Надышитесь, аппетита наберётся... Собаки у меня нету... Ох, изнежились вы там, и ребятишек таких же растите. До пенсии ширинку им будете расстёгивать, чтоб пописили.

– Ладно, Гордей, иди, – разрешила-велела мама и сама открыла ему дверь, не уточняя, хочет он гулять или нет. – Только на улицу не выходи. Понял?

Гордей постоял несколько секунд – пугало новое место, но и оставаться здесь, в домике, было тяжело и опасно. Останется, и начнут кормить, а он не будет, и мама заругается, может и шлёпнуть... Он шагнул, снова постоял, теперь на крылечке, и пошёл по двору.

Двор был скучный – ни качелей, ни песочницы... Гордей подобрал кривую палочку, представил, что это сабля, а он – воин. Нужен был враг... Ударил по высокой травине с тёмно-зелёными листьями и волосатым стеблем. Травина дёрнулась и, надломившись, повалилась на Гордея. Он быстро попятился.

Постоял, глядя на поверженного противника, и, размахнувшись, ударил по второй травине. Та стала падать вбок, на другие травы, но вдруг изменила направление...

На этот раз отскочить не успел, и листья задели его по руке.

Сначала Гордей ничего не почувствовал, а потом руку защипало, зацарапало... Он выронил палку, схватил здоровой рукой раненую, сжал. Глазам стало мокро; он побежал было к маме, но тут же передумал.

Не надо. Потерпит. Тем более колет и щиплет не так уж сильно. Потёр кожу, прислушался. Да, боль стихала.

Поднял палку и ударил по третьей травине. И сразу побежал спиной вперёд. Когда третья лежала на земле, опять подошёл к зарослям. Врагов было много...

– Привет, – сказали ему; будто сама трава сказала. – Ты кто?

Гордей опустил палку, присмотрелся. Сквозь стебли и щели забора на него смотрели дети.

– Я – Гордей, – четко, выговаривая сложную «р», ответил он.

– А ты откуда?

– Я – приехал.

– К баб Тане?

Гордей подумал и сказал:

– Да, к бабе Тане. – И добавил для твёрдости: – Я с мамой приехал.

Дети за забором помолчали, потом кто-то из них спросил осторожно:

– А кто твоя мама?

Гордей не знал, кто его мама, кроме того, что она его мама. Но он вспомнил нужное слово и ответил:

– Директор.

Дети снова помолчали. И задали новый, ещё более сложный вопрос:

– А папа?

Папа... Да, про человека, которого называют «папа», Гордей слышал. Он такой же важный, как мама, но другой... «Мама и папа». Но своего папу он не мог вынуть из забытого им времени.

И Гордей сказал:

– Мой папа – президент!

За забором засмеялись.

– Путин?

Слово «Путин» Гордей знал. По телевизору часто говорили это слово, и мама тоже иногда. Но оно не подходило для папы. А «президент» – подходило.

– Не Путин. Другой президент. – Гордей замялся, но фантазия выручила: – Он всеми машинами управляет. Как на них ездят.

Дети пошептались и позвали:

– Выходи играть.

Вот так запросто пойти к незнакомым было нельзя. Мало ли. Да и мама разозлится. Она его далеко никогда не отпускала, и что он точно хорошо помнил, так это её крики во время прогулок: «Гордей, ты куда?! Вернулся сейчас же! Быстро ко мне!»

Но не пойти к детям нужно было как-то с достоинством. И тут помог голод – забурчал в животе, стал щипать.

– Я есть хочу, – сказал Гордей и пошёл в дом.

Вслед раздалось:

– Вынеси печенюшек!

– И конфет!..

Есть пришлось согревшуюся в сумке, липкую колбасу с хлебом. Гордей жевал и пытался вспомнить, кто по-честному его мама и папа. Папа был, точно был, но какой он, Гордей не мог представить. И мама не рассказывала про папу...

– Мам, – спросил, – а ты кто?

– Х-хо! – Мама посмотрела на бабу Таню, ища у неё поддержки в своём изумлении. – Я твоя мама! Нет?

– Я знаю... А ты начальник?

– Хотя бы для тебя, да, начальник. Не будешь слушаться – такой выговор по жопе влеплю.

Гордей кивнул, потом, решившись, спросил ещё:

– А папа кто?

– Папа?.. Папа – козёл с бубенчиком.

Баба Таня печально вздохнула, а мама повторила твёрдо, колюче:

– Козёл.

Что такое «козёл», Гордею было известно. Такое животное с рогами. Некрасивое и противное. И опасное – бодается.

Что оно могло быть его папой, он не поверил. Хотя как-то он видел по телевизору, как один мальчик превратился в козлёнка, потому что попил грязной воды из лужи. И сестра мальчика очень плакала... У Гордея появился новый вопрос:

– Его превратили?

– А?..

– Его в него превратили? Папу.

– Сам он себя превратил.

– А где он?

– Ты решил доконать меня? Пасётся он, пасётся, как все козлины. Всё! – Мама рассердилась. – Поел – пей сок и... и иди вон в комнату. Я тебе игрушки там достала...

Гордею хотелось вернуться на улицу, к детям, которые наверняка его ждут. Но на столе не было ни конфет, ни печенья, нечем их угостить, и он пошёл к игрушкам.

Стал расставлять кубики, которые превратятся в дома, и он будет катать между ними машинку. Слышал малопонятный разговор мамы и бабу Тани. Вернее, не хотел понимать, чтобы не испугаться.

– Полгода думала, что образумится, придёт... Первое время хоть переводы иногда присылал, а потом вообще. Исчез, козлина. Даже на ребёнка ни копейки... Последние два месяца за квартиру нечем было платить. Хозяин гопарей нанял, чтоб выкинули... Вот с двумя чемоданами осталась. И с этим...

– О-хо-хох...

– Одна я, может, куда и приткнусь, а с ним... Пусть с вами побудет, тётя Тань...

– Что ж, говорено уже...

– Спасибо.

- Просрала своё женское счастье, теперь вот маешься.
 - Какое счастье, тётъ Тань? Вы б его видели...
 - Что, гвоздил он тебя? Пил запоями? А?
 - Пить – не очень, а руку поднимал.
 - Ну так, видать, доводила. Ты – языком, а он – кулаком. Пилила, а?
 - Срывалась... Но я человек эмоциональный. Что, молчком всё, что ли?
- Баба Таня скрипуче посмеялась:
- В постели надо свою эмоциональность проявлять, а не так. Срыва-алась она...
 - А что ж вы с дядь Витей разбежались?
 - Но-ка! Ты в нашу жизнь не залазь. Свою устрой, тогда и будешь...
 - Извините.

Мама вошла в комнату и сказала Гордею дрожащим голосом:

- Наигрался? Надо поспать. Заканчивай.

Гордей молча кивнул. Собрал в кучку кубики... Спать не хотелось, и теперь он вообще трудно засыпал днём, но говорить об этом было страшно. Лучше слушаться.

Умывались не под краном, а под какой-то кастрюлей, в дне которой был штырёк. Этот штырёк нужно было толкать вверх, и тогда из отверстия лилась вода... Кастрюля висела высоко, и вода стекала Гордею под рукава, за шиворот. Вместо раковины было ведро на табуретке, из него иногда вылетали грязные капли...

- Бельё там в стопочке, – говорила баба Таня, – сами застелитесь.

Мама застелила железную койку и уложила Гордея на чистую, но пахнущую какой-то прелью простыню. Накрыла одеялом. Присела рядом. Потом прилегла.

Смотрела на Гордея странно-пристально, гладила по голове. Молчала. Гордей тоже смотрел, смотрел на неё, а потом его глаза устали и закрылись. И он уснул.

После того как проснулся, началась жизнь без мамы.

Гордей, конечно, спросил бабу Таню:

- А где мама?

Та ответила:

– Уехала твоя мама. Со мной покоротаешь... Вернётся потом. – И добавила строго: – Не плачь! Не люблю плаксунов. Я их в печке сушу.

Гордей оглянулся на большую, покрытую пыльной извёсткой печь и не стал плакать. Что толку... Маму слезами не вернёшь, а эту старуху, которая, может, по-настоящему Баба-яга и притворяется простой бабушкой, разозлишь. Возьмёт и засунет в печку, а маме скажет потом, что он потерялся.

Баба Таня покормила его гречневой кашей с колбасой и отправила гулять во дворе.

– Там на задах, за избой, курицы есть. Погляди, только не заходи к им, а то выпустишь, весь огород склюют.

Куриц смотреть желания не было. Гордей подошёл к калитке и стал изучать улицу через щель. Улица была пуста и тиха. Стало скучно. А потом обидно, что мама его оставила. Уехала.

Но, наверное, ей очень надо. Она сделает дела и вернётся. И вернётся...

Домик бабы Тани был маленький: кухня, в которой баба Таня спала на приставленной к печи лавке, и комната, где поселили Гордея. В комнате высокий, с пятью рядами ящиков комод, койка, стулья, коврик с рогатым оленем на стене... Телевизор был на кухне, и Гордей боялся проситься его смотреть – баба Таня сама смотрела, и всё какие-то неинтересные передачи про болезни.

Во дворе оказалось куда интересней. Опасная, но странно притягательная трава-крапива, с которой хотелось воевать и воевать, пугающая чернотой в окошечке баня, брошенные сарайки, в которых пахло едко и таинственно, груда поломанных и трухлявых досок, из которых торчали рыжие изогнутые гвозди, курицы за сеткой, требующие у Гордея травки. Он давал

им травку, мягкую и неколючую, которая росла за баней, просовывал меж ячеек сетки. Курицы забирали травку клювами и требовали ещё...

Гордей заметил, что петуха у них нет, и как-то, когда ели яичницу, спросил у бабы Тани:

– А петушка у курочек нету, да?

– Нету.

– А как они яички несут?

Баба Таня усмехнулась:

– Ишь какой образованный... Яйца они и без петуха несут. Только из них цыплята не появляются. А мне и не надо – возни с ими... Осенью порублю, бульон буду варить, а весной новых куплю. Двести рублей штука.

В домике Гордею было тоскливо, хотелось к маме и плакать. Большую часть времени он проводил во дворе, осматривал и трогал то, что там находится.

Через день или два – время для него растянулось – у забора снова появились дети.

– Привет, – поздоровались. – Ты ещё тут?

– Тут. – Гордей принял взрослый вид. – Я тут долго буду. Меня мама оставила.

– А куда она уехала?

– Дела делать.

– Выходи гулять.

Гордею хотелось гулять. То есть даже не гулять, а увидеть этих детей по-настоящему, а не через щели в заборе.

– Сейчас, я только бабе Тане скажу.

Дети как-то насмешливо ответили:

– Давай.

Гордей, уже направившийся к домику, услышал насмешку, остановился:

– Нужно говорить, куда уходишь. А то старшие волнуются.

– Ну да, ну да... – Теперь ответ был без насмешки.

Баба Таня отпустила легко, даже вроде бы с готовностью. И Гордей пошёл к детям.

Их было трое – девочка Алина и двое мальчиков. Саша и Никита. Гордей определил, что они старше него, но немножко. Он держался напряжённо, ожидая, что они сделают ему плохо или будут смеяться над ним. Но они не смеялись. Наоборот, старались подружиться.

– Хочешь, покажем, где свинью похоронили? – предложил Никита, и Гордей по голосу определил, что именно Никита с ним разговаривал из-за забора.

– Хочу.

Пошли по узенькой улице, по краям которой густо росла волосатая трава и тянулась своими верхушками к ним, как живая.

– Это крапива, – сказала Алина, – до неё нельзя дотрагиваться, а то изжалит.

– Я знаю.

– А ты откуда приехал?

Гордей помнил весь их путь с мамой, но откуда они отправились в него, сказать не мог. Не говорить же – «из дома».

И он сказал:

– Мы с мамой долго ехали, много где были.

– Вы путешественники? – с интересом спросил Никита.

– Ага. И мама дальше поехала пу... – Гордей запнулся на сложном слове, – путешествовать.

– А я в городе живу, – сказал молчавший до того Саша, полноватый, со взрослыми глазами. – Там два миллиона человек, и метро есть.

– Я тоже в городе, – сказала Алина.

– А, ты в маленьком. У вас метро нету.

Алина не стала спорить... Гордей хотел узнать, что такое метро, но не решился. Ещё подумают, что глупый.

За улицей был пустырь, почти весь заросший крапивой. Здесь крапива была на свободе и от этого, наверное, особенно крепкая и высокая. Целый крапивный лес... Лишь в одном месте крапивы не было, а была горка из красноватой земли.

– Вот тут свинью похоронили, – сказал Никита.

А Саша, страшно округлив и выпучив глаза, добавил:

– Здорове-енная была! Её четыре человека несли. И мой папа тоже.

– А дядь Толя плакал, – сказала Алина.

– Ну дак это его свинья же! И поросята без мамы остались. Один подох уже...

Гордей поёжился.

– Ты только никому, понял! – погрозил пальцем и сморщился, как старик, Никита. – Это тайна.

– Почему тайна?

– А-а, узнают в районе, эти примчатся. Всех свиней перережут. Скажут, грипп. И стайки сожгут... Никто не должен знать, понял?

– Понял. – Гордею хотелось сказать: «Я никого больше тут и не знаю, кроме бабы Тани». Почувствовал – не надо. Повторил твёрже: – Понял. Не скажу.

– Айда обратно, – сказал Никита. – Скоро гуси за пивом пойдут.

Гордей не стал ничего уточнять – какое пиво, какие гуси...

Остановились у ничем не приметного забора. Постояли. И, когда Гордею стало так скучно, что он решил сказать, что идёт домой, из дыры в заборе полезли большие белые птицы с жёлтыми носами.

– Во, во, – зашептал Никита, – гляди.

– Это гуси? – тоже шёпотом спросил Гордей.

– Ну да. Не утки ж...

Первый гусь отошёл в сторону и остановился, наблюдая за пролезающими в дыру. Тихо гоготал, будто подбадривал или торопил.

Когда гусей стало много – Гордей не умел до стольких считать, – первый пошёл по улице, а остальные – за ним. Шли, переваливаясь, держа прямо длинные шеи. На детей не обращали внимания. А те не шевелились. И Гордей тоже.

Лишь когда гуси оказались далековато, Никита сказал:

– Погнали.

И они медленно пошли следом.

– А зачем мы за ними идём? – спросил Гордей.

– Сейчас увидишь.

Перешли улицу с асфальтом. Впереди появился маленький магазин. Гуси остановились недалеко от навеса сбоку, под которым были два высоких стола, а на земле окурки и всякий мелкий мусор.

– Сюда дед Вова пиво пить ходил, – начал объяснять Никита, – а гуси с ним ходили. Ну, он их типа пас... Потом он умер, а гуси сами стали сюда ходить. Без него.

Гуси стояли молча, вытянув шеи, глядя на один из столов.

– Дед Вова им хлеба кидал, вот и ждут.

И Гордею стал видаться стоящий за столом старик. Он облокотился, спина согнута, одна рука сжимает ручку большой кружки, а другая рвёт на кусочки ломоть хлеба. Рвёт, рвёт, а кинуть не может. А гуси ждут. И старик медленно растворяется в воздухе...

Через долгое время – ноги у Гордея устали – гуси заволновались, загоготали, повернулись и поковыляли обратно.

– Прикольно, да? – спросила Алина и улыбнулась, показав пустоту вместо передних зубов.

– Да не очень, – ответил Гордей и не признался, что видел старика-призрака.

Дальше шли по асфальтовой улице и встретили девочку с коляской. Алина тут же захныкала:

– Слав, дай мне Юрика покатать.

– Нет, мне мама не разрешает. – Девочка Слава была старше Алины, и Никиты, и Саши.

– Ну пожалуйста-а! Я буду думать, что это мой братик.

Девочка Слава помолчала и как-то, как королевна, взмахнула рукой:

– Ну ладно. Только на дорогу не выезжай.

– Да, да!

– И называй Юриком, а не всяко.

– Угу.

Девочка Слава передала коляску Алине и куда-то побежала. А Алина, забыв про мальчишек, покатила её, покачивая и что-то напевая.

– Она братика или сестрёнку хочет, а родители не хотят. Вот и катает чужих. И думает, что это её, – сказал Никита серьёзно.

– Я домой, – объявил сразу погрузневший Саша.

– Давай ещё на качели сходим.

– Не хочу.

Никита поморщился.

– Я тоже тогда. Баба, наверно, оладьев напекла. «Дисней» буду с ними смотреть.

И они пошли в разные стороны. Гордей растерянно огляделся – где дом бабы Тани, он не знал.

Поплёлся наугад по асфальтовой улице и вскоре увидел магазин с навесом и столами. Долго определял, какая из четырёх тянущихся от него узких улочек была той, по которой они пришли сюда вслед за гусями. Наконец, кажется, определил. Пошагал. И вышел на полянку. Там стоял белый большой рогатый козёл.

– М-ме-е-е! – закричал он пронзительно.

Гордей попятился, а козёл пошёл к нему. И быстро остановился – идти дальше не давала верёвка, привязанная к колу.

– М-ме-е-е! – повторил козёл.

– Ты кто? – спросил Гордей, хотя понимал, что это настоящий козёл, совсем как на картинках. И разговаривать козлы, как и все животные, не умеют. Некоторые попугаи только...

– Ме-е.

– Что?

Козёл смотрел на него пристально своими большими выпуклыми глазами.

– Я – Гордей, – сказал Гордей. – Я недавно сюда приехал. К бабе Тане. А мама уехала.

– Ме-е. – Козёл тряхнул головой, и тут на его шее, под бородкой, звенькнул колокольчик.

«Козёл с бубенчиком», – вспомнились слова мамы; Гордей отшатнулся... Он не знал, что такое бубенчик, но наверняка что-то вроде колокольчика. Неужели... Ещё одно мамино слово: «Пасётся». Козёл пасся.

...И не просто так мама привезла его сюда. Баба Таня – его бабушка. Была и ещё одна... умерла. Значит, и папа здесь бывал, приезжал. Ходил и превратился. А мама не знает и поехала его искать.

– Папа, – тихо сказал Гордей, вроде и не козлу, а так, будто в сторону, но тот отозвался протяжно, жалобно:

– Ме-е-е.

Гордей увидел, что травка вокруг него короткая, жалкая, и сорвал длинной, мягкой, протянул.

Козёл поднял верхнюю губу, обнажив сероватые большие зубы. Не доставал... Гордей подошёл ближе, и козёл ухватил траву языком, рывками втянул в рот и стал жевать. Глядел на Гордея по-прежнему внимательно, пристально. Потом, перестав жевать, строго сказал:

– Ме-е-е!

Гордей сорвал ещё травы. Дал.

– Я не верю, что ты мой папа. Превращаются только в сказках. – Сказал специально раздельно, уверенно, чтоб посмотреть, как поведёт себя этот рогатый с выпученными глазами и некрасивым голосом.

И рогатый ответил особенно громким и почти понятным:

– М-мне-е-е!

– А?

– М-мня-а-а-а!

– Тебя?.. Тебя заколдовали?

Козёл стоял и смотрел на Гордея. Жевать перестал.

– Заколдовали, правда?

И козёл затряс головой, колокольчик стал звякать сипло, тускло.

– В-вот он где, голубчик! – раздалось за спиной Гордея.

Он обернулся и увидел торопливо, но медленно из-за старости идущую к нему бабу Таню. Всё в том же переднике, в платке, напозшем на лицо. В руке – палка.

– Я уж всю деревню оббегала, паразит! Думала, собаки сожрали или украл кто на органы... Мне что, обормот такой, по твоей милости в тюрьму садиться?!

Баба Таня приподняла палку, и Гордею показалось, что она сейчас ударит. Он попятился и ткнулся спиной в твёрдое, но живое, шевелящееся. Это была голова козла. Рога. Сейчас как даст ими... Гордей не выдержал и заплакал...

Баба Таня не побила, козёл не бодался. Несмотря на слёзы, Гордей запомнил дорогу до дома. Это было совсем рядом, правда, идти нужно было по совсем узкой, почти целиком заросшей крапивой улочке.

Покричав, баба Таня быстро успокоилась и утром отпустила Гордея гулять. Он пошёл к козлу с колокольчиком. С тех пор ходил к нему почти каждый день.

Иногда козла не оказывалось на месте, и Гордей представлял, обмирая от ужаса, что ночью пришла колдунья и съела его. Украла, унесла в свою избушку в лесу, зажарила в печке и съела.

Но на другой день козёл появлялся. На той же полянке между заборами или дальше, возле высокого строения, которое называли водонапорка.

Случалось, лил дождь, и Гордей оставался дома. И очень тосковал. Не по козлу, который мог быть заколдованным папой... А может, как раз по нему.

С козлом он почти не разговаривал. Садился рядом, в том месте, до которого не доставала привязь, и смотрел на это рогатое лупоглазое существо. Наблюдал за ним... По сути, всё было сказано в первый же раз, когда Гордей спросил: «Тебя заколдовали?» – а козёл затряс головой.

В глубине души Гордею всё стало ясно тогда, но рассказывать о том, кто это в облике козла, он не решался ни бабе Тане, ни ребятам.

Ребята несколько раз приходили на полянку или к водонапорке, обзывали козла обидными словами, а Гордей молчал, лишь смотрел рогатому в глаза и взглядом просил потерпеть. Козёл же тряс головой и то жалобно, то зло мекал. Как-то Никита взял ком сухой земли и бросил в козла. Гордей крикнул:

– Перестань! Нельзя бить!

– Н-ну, – удивился Никита. – А тебе жалко, что ль? Это ж козлиная вонючий!

– Нельзя! Он хороший. И за то, что бьёшь, – в тюрьму. Я по телевизору видел.

Никита похмылялся, но больше в козла ничем не кидал. Да и обзывать перестал. А Гордей на другой день принёс козлу печенюку, и тот её жадно съел. Потом сказал:

– М-ме-е-е!

– Вкусная?

– М-м-ме-е-е-е!

– Я завтра ещё принесу...

Странно, но о маме Гордей вспоминал всё реже. Нет, он помнил о ней, но вот так, чтобы хотелось заплакать, не вспоминал.

Козлу он про маму не рассказывал. Расскажет, и, может, не то что надо. Только хуже сделает... Решил: мама приедет и сама всё увидит. И что-нибудь произойдёт.

Дни текли однообразно, но быстро. Правда, дождливых становилось всё больше. Эти дни Гордей научился переживать: лежал на койке, стараясь не шевелиться, чтоб не скрипела сетка, и мечтал, что папу расколдуют, и они все вместе – он, мама и папа – вернутся туда, где жили в то время, которое Гордей не помнил. Запомнил лишь одно – им было там хорошо...

Иногда приходил большой хромоногий старик, деда Гена, приносил мёд, и они с бабой Таней его медленно ели с чаем. Гордею мёд не нравился.

Раза три, а может, на два больше баба Таня водила его в магазин. Говорила перед этим:

– Мать жива твоя, деньги перевела... Копейки, конечно, но уж чего... Пойдём отоваримся. Не голодом же сидеть.

Выдавала ему хорошие штанишки и рубашку, и они отправлялись. Баба Таня покупала крупу, консервы, бутылочки, яблоки, которые заставляла Гордея есть – «а то зубы выпадут, а другие не вырастут», – и чего-нибудь вкусного. Конфет или печенек. Этим вкусеньким Гордей делился с заколдованным папой.

Совсем неожиданно приехала мама. Шумная, помолодевшая.

– Так, собираемся, – стала бегать по домику, – надо на вечерний поезд успеть.

– Что, устроилась? – скрипнула голосом баба Таня, и Гордей сквозь радостную неожиданность появления мамы заметил, что так скрипуче баба Таня с ним не говорила.

– Ага! Такой попался! С довеском согласен взять... Что, четыре года, приживётся. Они ж в пять забывают, что раньше было... Посмотрим... Так, – глянула на Гордея, – одевайся живо, автобус через пятнадцать минут! А нам на поезд надо успеть. – И сама стала его одевать.

Быстро попрощалась с бабой Таней, что-то сунула ей в руку и покатила сумки на колёсиках. Гордей семенил рядом.

Когда проходили ту улочку, что вела к поляне, Гордей остановился. Мама удивилась:

– Чего ты?

– А папа? – сказал Гордей. – Папа там... Надо папу расколдовать.

– Какой папа ещё? Пошли быстрее!

– Нет! – Гордей побежал по улочке.

Козёл был на месте. Увидел Гордея и сказал громко, почти пропел:

– М-ме-е-е!

– Пап, мама приехала! – крикнул Гордей. – Мама! – Обернулся и крикнул маме: – Вот папа, его надо расколдовать и забрать!

Мама бросила сумки, подскочила к Гордею и присела перед ним, больно сжала плечи. Смотрела в глаза своими глазами. Незнакомо смотрела, как чужая.

Потом обняла и зашептала:

– Сыночек... Сыночек ты мой бедненький... Сына...

А потом отстранила от себя и сказала строго:

– Это не папа, это козёл простой. Незаколдованный. Папа дома и ждёт нас. Понял? Он не козёл, его зовут Виталий. Понял? А это просто козёл. Скотина просто... Всё, пошли. Опоздаем.

И повела Гордея туда, где лежали сумки.
Гордей пытался понять слова мамы и забыл оглянуться.

Функции

Ольга чувствовала себя всё хуже и хуже и в конце концов решила лечь в больницу.

Вениамин Маркович, её врач на протяжении уже лет семи, выписал направление с готовностью – Ольга замучила его частыми визитами, звонками, так что он был вынужден раза два-три намекнуть, что он не психолог, а психиатр... Да, с готовностью выписал направление, но посчитал нужным выразить сочувствие, хотя бы формально оправдать это своё решение:

– Месяц стационара вам, Ольга, необходим. Понимаю, что это тяжело.

Ольга покачала головой, губы старалась держать загнутыми книзу, хотя в душе была рада. Конечно, для статуса это не на пользу – лежать в психушке, – отношение к тебе меняется, люди начинают воспринимать тебя как не очень-то полноценную, относиться с осторожностью. Но Ольга была художницей, а не, скажем, учительницей или бухгалтером. Людям творческим – тем более обладающим талантом, который признан, оценён, – сам бог, как говорится, велел и обладать своеобразной психикой, и время от времени отъединяться от этого грубого, суетного мира в лечебницах, спрятанных в берёзовых рощах и сосновых борах. К тому же их больница напоминала санаторий – люди там скорее отдыхали, приходили в себя, чем зависели от препаратов. Исцелялись покоем... По крайней мере, прошлые лежания оставили у Ольги такое ощущение.

– Надеюсь, я попаду в ваше отделение, – сказала Ольга.

– Конечно, конечно.

И на следующий день она входила в приёмный покой, словно в терминал аэропорта. Катил большой чемодан с вещами.

Оформление состоялось довольно быстро и легко – в кабинете была знакомая Ольге врача, которая в свою очередь узнала Ольгу и даже приветливо улыбнулась:

– Снова к нам, милочка?

– Да, нужно перезагрузиться.

– Хорошо. Очень хорошо...

– Мне к Вениамину Марковичу. Во второе отделение.

– Я в курсе. Всё будет хорошо, не волнуйтесь.

Но, когда уже бумаги были написаны и подписаны, врач сказала:

– Вещи оставьте провожающим, а они потом отнесут медсёстрам. С собой вам вносить нельзя.

– Да? – Ольга удивлённо подняла брови. – Раньше можно было.

– Раньше – можно. А теперь, к сожалению...

– А меня никто не провожает.

Врач посмотрела на Ольгу с подозрением. И менее приветливым тоном посоветовала:

– Можете вон Александру Григорьевичу оставить. – Кивнула на стоящего у двери санитаря.

Санитар был высокий, крепкий, с лицом боксёра.

– А... – Ольга перешла на шёпот, – а это надёжно? У меня там ценное...

Врач хмыкнула, а санитар многозначительно кашлянул.

Делать было нечего – дошли до нужного корпуса, Ольга катнула санитару чемодан. Санитар катнул обратно:

– А халат, тапки? Их с собой надо взять.

Пришлось открыть чемодан, рыться в нём на глазах постороннего.

– И шубу тоже давайте, – сказал санитар, когда она закончила.

– Зачем шубу?

– Вдруг сбежите.

– Но я ведь не на острое, я сама, по направлению.

Санитар стал сердиться.

– Я, что ли, порядки устанавливаю? Так положено. Вещи и верхнюю одежду провожающим, а они – дальше.

Ольга сняла шубу, отдала её, мягкую, душистую, чужому мужику в сероватом халате. А потом полчаса, пока оформляли теперь уже в отделении, пока переодевалась, заселялась в палату, дрожала, что там с вещами.

Медсёстры были молодые, незнакомые. И борзые до предела. Вопросы задавали рыкающе, не просили, а приказывали... Ольга, конечно, никогда не бывала в тюрьмах, но, судя по фильмам, именно так ведут себя надзирательницы. Она растерялась, как-то быстро сдалась, и руки сами собой потянулись за спину, словно у зэчки.

Ввели в палату, где уже обитали четыре женщины: две – примерно возраста Ольги, в районе тридцати пяти, одна – лет слегка за двадцать, а четвёртая – пожилая.

Встретили её затравленными взглядами. Лица голые, ненакрашенные... Не поздоровались, даже не кивнули.

– Добрый день! – сказала Ольга и улыбнулась.

– Добрый? – вопросительно отозвалась одна из её ровесниц; остальные промолчали.

Раньше было иначе. Каждая палата – маленький женский клуб. Постоянный щебет, перебирание косметики, нарядов, советы, споры, а теперь – гнобящая тишина. Надавила на уши, будто Ольга нырнула глубоко под воду.

Присела на свою кровать, разглядывала соседок. Не в упор, но внимательно. И тревога всё росла, росла, стала колоть, жечь. Женщины были неживые...

Потом принесли чемодан.

– А шуба?

– Зачем тебе шуба? – спросила старшая медсестра, но по возрасту явно младше Ольги.

– Волнуюсь...

– Шуба – где надо. А кто слишком у нас волнуется, тех на острое переводим.

Ольгу потряхнуло.

– А что вы хамите?

– Хамлю? – Медсестра посмотрела на неё ледяными глазами. Вернее, с какой-то ледяной злобой. Особь с такими глазами не будет орать, даже голоса не повысит, а просто возьмёт и задавит. В прямом смысле слова. Потом скажет, что суицид...

Ольга открыла чемодан. Он был почти пуст.

– А где платя? Косметичка? Туфли? Плойка? Сигареты где? Что за фигня-то такая происходит?!

Возмутилась громко, открыто – медсестра уже вышла.

– Теперь тут жесть, – сказала та ровесница, что отозвалась вопросительным «добрый». – Я спецом расслабиться легла, а теперь понимаю, что сдыхаю медленно.

– А что произошло? Почему так?.. Как вас зовут, извините?

– Ксюша, – с рефлексорной кокетливостью ответила та, и тут же голос снова стал горестным: – Ну что, поменялись порядки. Это их любимое объяснение. Сегодня самая свирепая смена.

– Да уж, как из тюрьмы строгого режима... А вы здесь не первый раз?

– Второй.

– Все не первый, – подала голос пожилая. – И никто с таким не сталкивался.

– Надо жаловаться тогда.

– Жаловались. Только хуже.

Но Ольга пожаловалась. После первого обыска – настоящего шмона.

Через три дня её жизни в больнице, утром, после завтрака, в палату влетели те самые медсёстры-надзирательницы и чуть не в шею выгнали всех в коридор. Ольга чудом успела прихватить ноутбук, в котором делала наброски новой картины.

Стояли в коридоре, а за дверью слышался стук выдвигаемых ящиков в тумбочках, скрип панцирных кроватей, шуршание пакетов. Что-то падало, хрустело.

Минут через пятнадцать их запустили обратно. Вещи не валялись, постельное бельё не сброшено на пол, но сразу стало понятно, что каждая мелочь, каждая тряпочка ошупана чужими руками... Медсёстры торжественно выносили сигареты, ножницы, пилочки для ногтей.

– По какому праву всё это происходит? – стараясь не сбиться на визг, спросила Ольга.

– По праву правил больницы, – дёрнула плечами старшая. – Это вам не курорт, а больница. И вас тут должны лечить, а не развлекать.

Это «должны лечить» прозвучало как «должны разрезать на куски».

Заправив постель, наведя порядок в тумбочке – кое-что протерев влажными салфетками, – Ольга пошла к завотделению. С ним, как она считала, у неё были особые отношения.

Нет, ничего такого, просто то участие, какое проявлял к её здоровью Вениамин Маркович – всегда сразу принимал её или давал советы по телефону, случалось, звонил сам, – не могло не вызывать у неё чувства, что он её выделяет. Ей хотелось в это верить...

Как-то Ольга подарила ему свою картину, и Вениамин Маркович искренне благодарил.

Сейчас она сидела в его кабинете и говорила плачуще:

– Это... это беспредел самый настоящий... извините за слово. Выдают утром четыре сигареты на весь день, а если находят спрятанные – отбирают. Пользоваться ножницами, пилочками, краситься – только в присутствии сестёр. А они смотрят как звери. Особенно эта, которая сегодня старшая.

– Алина Борисовна, – уточнил врач.

Ольга на некоторое время оторопело замолчала – не могла осознать, что у этой стервозины тоже есть имя и отчество.

– Наверное, – кивнула наконец. – Она... Это просто возмутительно. Как в тюрьме какой-то... строгого режима. – Сравнение со строгим режимом не выходило у неё из головы.

– Да, я понимаю вас, Ольга Евгеньевна. Понимаю и сочувствую. Не вы первая приходите ко мне с этим.

Вениамин Маркович протяжно вздохнул, и Ольга увидела, какой он усталый, измотанный. А ведь немногим старше неё – скорее всего, сорока нет. Она знала, что у него жена, дети; наверняка, кроме профессиональных, донимают и домашние заботы и проблемы. Ещё вот и такие разговоры – о хамках медсёстрах. Беденький...

– Режим, – он усмехнулся, и от усмешки его усталость стала очевидней, – режим уже сточился, это правда. Я ничего не могу сделать – медсёстры действуют в соответствии с регламентом. Так что прошу вас, Ольга Евгеньевна, потерпеть. Пожалуйста. И не беспокойтесь. Хорошо? Иначе наш курс не принесёт никакой пользы... Как ваша живопись? Что читаете? Посоветуйте что-нибудь стоящее...

В общем, от него Ольга вышла более-менее успокоенная. Вернее, смирившаяся. Даже несчастные четыре сигареты в сутки не вызывали такого негодования, как поначалу. Тем более что накуривалась во время прогулок – покупала в ближайшем магазине пачку «Парламента», а на входе в отделение сдавала медсёстрам.

– Мы скоро ларёк табачный откроем, – шутили те. – Все полки забиты.

Но смирение разрушало Ольгу – она чувствовала, что опускается. Скоро станет как эти её соседки – посмотришь на их почти насекомое существование и реально с ума начинаешь сходить... Вспомнились соседки прежних лежаний.

Те с раннего утра начинали чистить перья, выбирать, в чём пойдут на завтрак, а в чём примут на обходе Вениамина Марковича. Красились, перекрашивались. Сколько было жизни...

Помнится, Ольгу они бесили, а теперь хотела, умоляла какие-то силы, чтоб случилось чудо и вернулась та атмосфера.

Чуда не происходило: в палате, как ядовитый туман, висела зеленюющая тоска. Наряды, косметички, плойки были заперты у медсестёр; женщины чахли.

Спасаясь, Ольга погулила ближайший салон красоты и во время прогулки, когда дежурила не очень злая смена, отправилась делать маникюр. Если опоздает, эти вряд ли набросятся.

Вошла в салон – переоборудованную квартиру на первом этаже пятиэтажки – смело, гордо, всячески стараясь вернуть то ощущение, какое было до больницы: ощущение, что она подарок этому миру, она – победительница. И то, что оказалась в нынешнем положении – чуть ли не заключённой, у которой отобрали почти все вещи, заставили жить по унижающим её регламентам, – случайность. Скоро эта случайность будет исправлена.

– Добрый день! – сказала громко и широко улыбнулась, распахнула глаза.

И так застыла, окаменела с этой улыбкой, которая стала постепенно оползать к подбородку: перед ней стояла Алина. Та самая Алина Борисовна.

На лице надзирательницы мелькнуло замешательство, но быстро сменилось выражением приветливости и чего-то такого, что бывает у официанток, горничных, консультанток в бутиках.

– Здравствуйте! – ответила. – Проходите, пожалуйста. Что будем делать? Стрижка, маникюр, педикюр?

– Я... Я хотела маникюр. – Ольга услышала в своём голосе виноватость, собралась и повторила увереннее, жёстче: – Маникюр.

– Отлично! Классический? Французский? Бразильский? Френч? Можно сделать кружевной...

– Мне нужен шеллак. – Ольга решила выбрать посложнее. – Есть такая услуга?

– Конечно! Раздевайтесь, вот вешалка...

В салоне были ещё девушки, но в те полтора часа, пока происходило снятие старого лака, остригание отросших ногтей, накладка нового, сушка под УФ-лампой, она видела только Алину. Как вошла, влипла в неё и взглядом, и сознанием, так и не могла оторваться. Испуг, недоумение скоро испарились, осталось любопытство: Ольге было интересно наблюдать за хамкой, чуть не садисткой в другой обстановке. И практически ничего общего с той Алиной у этой не было. Взгляд другой, голос другой, даже движения. Словно добрая близняшка.

И, как это заведено у маникюрщиц, она начала рассказывать... Обычно в салонах велись разговоры о сериалах, новых поездках ведущих «Орла и решки», о событиях в «Доме-2», новости о Баскове, Бузовой, Лере Кудрявцевой, и Ольга слушала их с интересом: сама она телевизор почти не смотрела, журнальчики не читала, сериалы предпочитала умные и сложные, а тут вот – раз в месяц – будто оказывалась в иной реальности.

Но Алина рассказывала не о сериалах и звёздах, а о своей жизни. Как-то так ненавязчиво начала, и потекло, потекло неспешно, без нервов и рыданий в горле. Словно делилась сюжетом неоригинального, вторичного, но всё же цепляющего за душу фильма.

Ей двадцать семь. Дочка и сын, больная мать. Живут здесь, недалеко, в двухкомнатной квартире. Мужа нет и не было. Мужчины появляются, конечно, но до свадьбы не доходит. Зато детей оставляют. С детства хотела стать врачом, правда, в школе училась неважно, поэтому пришлось уйти после девятого. Окончила медучилище, стала работать медсестрой. Сначала в тубдиспансере, а потом перешла в эту больницу – и к дому ближе, и опасность заразиться туберкулёзом или ещё чем минимальная.

Денег постоянно не хватает, алименты – слёзы просто: «эти, папаши-то, никто нигде официально не работает», – поэтому, когда приятельница предложила подрабатывать в салоне кра-

соты, с радостью согласилась. «А что – сутки на смене, сутки отсыпаясь и по дому разное, а потом день здесь. Терпимо». Прошла курсы, стала мастером.

В ответ Ольга рассказала, что художница. О выставках, поездках, заказах портретов богатых людей, даже мэра...

Расстались чуть ли не подругами, и Ольга как-то летяще, как в старой песне поётся – летящей походкой, не чувствуя своего веса, дошла до корпуса, возле крыльца выкурила сигаретку. Поднялась в отделение. Сигареты решила не сдавать – спрячет под тумбочку. Остальные бригады медсестёр, кроме Алининой, обыскивают формально, а чаще не обыскивают вовсе; Алина же вряд ли теперь будет свирепствовать. По крайней мере, по отношению к ней... Откровенный рассказ, двести рублей сдачи, которые Ольга не взяла, имели какое-то значение.

Но она ошиблась. На следующий день шмон случился раньше, чем обычно, – во время завтрака. Обитательницы отделения были в столовой, а в это время Алина со своей напарницей переворачивали постельное бельё, рылись в тумбочках, двигали нехитрую мебель.

Входя в палату, Ольга сразу наткнулась на лицо Алины. Как и вчера, в салоне. Наткнулась и попятилась, будто ударилась о стену. Грязную и шершавую. Теперь лицо медсестры было перекошено от ненависти и возмущения.

– Это что опять? – зашипела Алина и скакнула к Ольге, помахивая «Парламентом», – какого-нибудь сантиметра не хватало, чтоб пачка тыкалась в глаза. – Это что, спрашиваю? Сколько раз говорить: никаких сигарет! Ни-ка-ких! Что, вообще запретить? А?

– Как вы можете... Как вы можете так? – Ольга говорила с усилием, будто её душили, изумлённая не самой грубостью, а грубостью после душевной близости. – Мы ведь вчера так хорошо... Как вы можете так меняться, Алина?

– Могу. А что? Сегодня – не вчера. Сегодня у меня другая функция: не давать вам тут курорт устраивать. Нашли тёпленькое местечко: лежать, покуривать... Психика у них тонкая! Паразитки.

– Заткнись! – проорала Ольга, готовая вцепиться в волосы медсестры. – Мразь! Я тебя уничтожу, скотина!

Алина отступила на шаг и спокойно сказала напарнице:

– Настя, у нас приступ. Физическая угроза персоналу. Вызывай санитаров – необходим перевод на острое.

Сюжеты

...Ну хоть на один вопрос вы можете ответить: Аменхотеп Четвёртый и Эхнатон – это один и тот же человек или разные?

На сей раз преподаша Древнего мира Инна Андреевна принимала зачёт не в аудитории, а на кафедре – тёмной тесной комнате с тяжёлыми картинами, книжными шкафами из почерневшего дерева, закрытым шторами окном. Будто внутренность гробницы...

Олег подвигал плечами и пробубнил:

– Один.

– Та-ак, – в голосе Инны Андреевны появилась человеческая нотка. – А кто это такой?

– Фараон.

– Так-так. А почему же у него два имени?

Олегу было двадцать пять лет. Но сейчас он ощущал себя пятиклассником... Да нет, в пятом классе он любил историю, многое знал, получал в основном пятёрки. Теперь же его, повывавшего жизнь первокурсника столичного вуза, от неё тошнило. От одного только упоминания о фараонах, ассирийцах, Урарту, шумерах... Словно какие-то промасленные бинты от мумии совали под нос...

– Ну, что молчим?

Хотелось сказать Инне Андреевне, что она просила ответить хоть на один вопрос, а он, Олег, ответил уже на два. Но это наверняка разозлит преподашу ещё сильнее. И Олег молчал, глядя в пол, как провинившийся подросток.

Провинившийся, но не сдающийся – сюда он поступал не затем, чтобы снова погружаться в истлевшую древность.

– Почему у этого фараона два имени? – голос Инны Андреевны вновь металлически заскрежетал.

«Так прогонит или впаяет незачёт?» – вяло гадал Олег, не пытаясь выдвигать версии по поводу двух имён. А знать он, конечно, не знал. Да и не хотел.

Это была пятая пересдача, на дворе начало апреля. Скоро летняя сессия, а у него с зимней хвост.

– Судя по журналу, вы, – преподаша глянула в зачётку и хлестнула Олега именем-отчеством, – Олег Валентинович, присутствовали на лекции, где я рассказывала о том, почему этот фараон из Восемнадцатой династии был сначала Аменхотепом Четвёртым, а потом стал Эхнатоном. Неужели ничегошеньки в памяти не отложилось?

Лекции Олег старался не прогуливать, но слушать получалось редко. Мозг попросту не желал включаться. Как клапаны там какие-то возникали, перекрывали...

– Вот вас здесь на писателей учат, – со злой насмешкой заговорила Инна Андреевна; сама она была почасовой, из МГУ. – Но как можно вам, будущим, так сказать, писателям, проходить мимо таких сюжетов? Даже не то что проходить, а попросту не знать. А?

Она замолчала, ожидая, видимо, что Олег спросит: «Каких сюжетов?» Олег молчал. Преподаша покачала в руках зачётку – казалось, вот-вот шагнёт к столу, возьмёт ручку и черкнёт в нужной графе короткое «незач». Но не шагнула – любовь к своему предмету в этот момент оказалась сильнее злости на плохого студента. Она стала рассказывать сюжет:

– Это, естественно, крайне схематично и упрощённо – лишь суть... Итак, примерно три тысячи триста восемьдесят лет назад, при фараоне Аменхотепе Третьем, Египет находился на пике могущества и богатства. С окружающими государствами поддерживаются мирные отношения, боевых действий практически нет. Кровь не льётся. Мудрая внешняя политика: среди жён Аменхотепа Третьего сёстры и дочери вавилонских и митаннийских царей. Строятся грандиозные храмы, процветает торговля, народ благоденствует... Были, конечно, и восстания,

и внешние угрозы, но для того времени его царствование стало удивительно спокойным... Аменхотеп Третий правил тридцать восемь лет. Ещё при жизни он был обожествлён, причём обожествлял себя сам, упорно называл видимым Солнцем... Кстати, каких египетских богов вы знаете?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.